





Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [Ф. Е. Савицкий](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [ГЛАВА I. ТЕМНЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ](#)
 - [ГЛАВА II. ПОЭТ-ДВОРНИК И ВОРОНЕЖСКИЙ КРУЖОК](#)
 - [ГЛАВА III. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН](#)
 - [ГЛАВА IV. ГОД САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ](#)
 - [ГЛАВА V. ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ](#)
 - [ГЛАВА VI. НИКИТИН КАК ПОЭТ](#)
 - [ИСТОЧНИКИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)

Ф. Е. Савицкий
Иван Никитин. Его жизнь и
литературная деятельность

*Биографический очерк Ф. Е.
Савицкого.*

*С портретом И. С. Никитина,
гравированным в Лейпциге
Геданом.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя поэта-мещанина Никитина занимает скромное, но заметное место в нашей литературе. Правда, это место еще не вполне определено – произведения Никитина и до сих пор не нашли себе надлежащей оценки; но поэтические достоинства их признаны уже несомненно, и некоторые из его стихотворений по справедливости поставлены в один ряд с лучшими произведениями нашей литературы.

Первые стихотворения Никитина появились в печати в начале пятидесятих годов и были встречены общим сочувствием и интересом: воронежского “поэта-дворника” приветствовали как преемника безвременно угасшего А. В. Кольцова, его земляка, имевшего много общего с Никитиным по своему происхождению и судьбе. Подобный взгляд способствовал громкому успеху первых произведений Никитина, и, нужно сказать, успеху незаслуженному: такие стихотворения, как “Русь”, “Война за веру” и др., хотя и носили уже признаки таланта, но ни по содержанию, ни по форме еще ничего оригинального не представляли и были только подражаниями другим поэтам; истинное дарование Никитина окрепло и выявилось позже. Но в пору сильного патриотического возбуждения, которое охватило наше общество в начале Крымской войны, эти стихотворения не могли не производить впечатление; оно усилилось еще более, когда узнали, что автор их – мещанин, содержатель постоялого двора в г. Воронеже. Сравнение между “поэтом-прасолом” Кольцовым, оригинальный талант которого пользовался уже такой известностью, и новым “поэтом-дворником” напрашивалось само собой. Но как ни естественно было такое сопоставление, делавшие его забывали ту простую истину, что одна и та же почва производит различные растения; все зависит от того, какие семена в нее запали. Несмотря на одинаковое происхождение, между Никитиным и Кольцовым в сущности не было почти ничего общего. Кольцов был в полном смысле сын народа, не воображением только, а умом и сердцем принадлежал ему, жил одною с ним жизнью. Он почти ничему не учился и был едва грамотен. Его талант ничем не был обязан образованию или литературе, он явился сам собой, его воспитали леса, поля и степи, которые в юные годы окружали поэта. У Кольцова было “много дум в голове, много в сердце огня”, и эти думы и чувства стремились вылиться в такой свободной форме, как форма народных песен. Это был талант-самородок, подражать которому невозможно. “С ним, – говорит Белинский, – родилась его поэзия,

с ним и умерла ее тайна”.

Судьба таланта Никитина совсем иная. Сын мещанина-торговца, он получил образование сначала в духовном училище, потом в семинарии; здесь, в особенности под влиянием литературы сороковых годов и в частности Белинского, которым увлекался молодой семинарист, у него сложилось мировоззрение, оторвавшее его от той темной среды, из которой он вышел, и хотя по своему положению Никитин принадлежал к ней всю жизнь, но умом и сердцем он сделался чужд ей, смотря на нее сверху вниз, как на материал для своей наблюдательности. Это породило душевный разлад, не оставлявший Никитина до конца его дней и доставивший ему много страданий. Искать поэтому в его произведениях того простого, ясного и непосредственного отражения народной жизни, которое так привлекательно в поэзии Кольцова, не имеет смысла. Уже в первых стихотворениях Никитина ничего “самородного” не было; в них виден писатель более или менее образованный, знакомый с лучшими образцами литературы, которым он и подражал вначале. Дальнейшее развитие Никитина совершилось под влиянием кружка просвещенных людей, дружески принявших в свою среду “поэта-дворника”. Вместе с развитием вырос и определился талант Никитина; от подражания он переходит теперь в ту сферу, которая была ему так близка и знакома; эта сфера – жизнь простого народа, преимущественно бедного городского класса; ее поэтом и защитником всего обездоленного и страдающего под гнетом нужды и невежества выступил Никитин в своих проникнутых глубоким чувством и правдой произведениях. Если уж нужно сравнение, то скорбная муза Никитина по своему характеру ближе всего к музе Некрасова, и эпитет “печальника народного горя” с полным правом можно присвоить “поэту-дворнику”, которому это “народное горе” было так близко.

Жизнь Никитина не содержит никаких выдающихся событий. Вся она прошла в тесном провинциальном кругу, а большая часть ее, до выступления на литературное поприще, – в весьма неприглядной обстановке, в борьбе с лишениями, среди темного люда. Об этом первом периоде – о воспитании поэта и жизни на постоялом дворе – существуют только отрывочные сведения. Благодаря своему характеру, замкнутому и нелюдимому, Никитин не любил рассказывать о себе, а из окружавших его в это время не нашлось никого, кто оставил бы нам свои воспоминания. Только после того, как Никитин делается известен в качестве поэта, его жизнь получает большее освещение. Он привлекает к себе общее внимание, входит в кружок образованных людей, которые интересуются им и его развитием.

Из этих лиц М. Ф. Де-Пуле, бывший в дружеских отношениях с Никитиным в последние годы его жизни, написал биографию поэта, которая служила главным материалом при составлении настоящего очерка. Биография Де-Пуле при всей своей обстоятельности и ценности – как повествование человека, близко стоявшего к Никитину, – грешит, однако, односторонностью и местами видимым пристрастием к поэту, на которого автор, как и другие члены кружка Второва, смотрел в некотором роде как на свое детище. Другим важным источником для биографии Никитина служат его произведения, в которых рассеяно много автобиографических данных.

ГЛАВА I. ТЕМНЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

Среда. – Отец и мать. – Детские годы. – Духовное училище и семинария. – Семинарское образование. – Влияние литературы. – Страсть к стихам. – Характер Никитина. – Семейная катастрофа и выход из семинарии. – Тяжелые годы жизни. – Отношения с отцом. – Никитин-дворник. – Дружба. – Робкое вступление на литературное поприще. – Первые успехи

Никитин вышел из той же мещанско-купеческой среды г. Воронежа, к которой принадлежал и его даровитый предшественник А. В. Кольцов. В этом царстве торговли и наживы, темного невежества и грубых нравов, по-видимому, нет места для каких-либо других, более благородных стремлений, и переход отсюда в чистую область творчества и мысли представляется особенно трудным. Только избранные натуры путем тяжелой борьбы, в которой надламываются силы и растрачиваются лучшие чувства, могут сохранить в себе и вынести на свет “искру божью” таланта. Это – своего рода подвиг, по большей части невидный и непонятный другим, но настолько же высокий, насколько и трудный. В этом отношении история жизни Никитина представляет много поучительного; лучшим эпиграфом к ней могут служить слова самого поэта:

Горек жребий мой суровый,
И много сил я скоронил,
Пока дорогу жизни новой
Средь зла и грязи проложил.

Отец Никитина, Савва Евтихievич (или просто Евтеич, как его обыкновенно звали), не принадлежал к “столпам” воронежского купечества, хотя вначале имел весьма значительное состояние. Он происходил из духовного сословия, но почему-то вышел из него, переименовал свою фамилию (прежде назывался Кирилловым) и приписался к мещанам. В Воронеже Никитин имел собственный завод восковых свеч, дом и лавку на бойком торговом месте. Большой приток богомольцев, собиравшихся в те годы на поклонение воронежским святыням, делал торговлю восковыми свечами очень оживленной; кроме того, большие партии свеч Никитин рассылал по донским и украинским ярмаркам, так что торговые обороты его доходили тысяч до ста в год на ассигнации. Это состояние, нажитое благодаря уму и торговой изворотливости Никитина, скоро, однако, приходит в

полный упадок. Только детские годы нашего поэта были окружены материальным довольством, а затем началось падение, нужда, тяжелая и унижительная борьба из-за насущного хлеба. Но в ту пору, когда родился сын, Никитины не могли еще пожаловаться на свою судьбу; торговые дела были в хорошем состоянии, и дом их пользовался почетом среди местных торговцев. Вероятно, благодаря своему духовному происхождению отец Никитина не был совершенно темным человеком; с природным умом у него соединялась и некоторая начитанность, в особенности же он любил книги духовно-нравственного содержания и наших старинных светских писателей. Но по характеру это был вполне сын своей темной среды. Грубый и самовластный, в молодости отличавшийся огромной силой, которая наводила ужас на участвующих в кулачных боях – дикой, но очень популярной в старину потехе, – Савва Евтихиевич был грозой и для своей семьи. Перед ним совершенно стушевывается его жена, Прасковья Ивановна, кроткое и безответное существо, находившаяся в полном подчинении у мужа и не имевшая, по-видимому, особенного влияния на воспитание сына. Замечательно, что в воспоминаниях о своем детстве, к которому не раз обращается Никитин в своих стихотворениях, он почти ничего не говорит о матери. Иван Саввич родился 21 сентября 1824 года. Беззаботная пора детства, по-видимому, не много радостей доставила ребенку. Он был единственным сыном и рос почти одиноко; только двоюродная сестра Аннушка, дочь его тетки Тюриной, была подругой его детских игр. Живой и бойкий от природы мальчик под влиянием одиночества, а еще более под влиянием крутого нрава отца скоро делается не по годам сосредоточенным и нелюдимым. “Мечтами детскими ни с кем я не делился, не знал веселых дней, веселых игр не знал”, – говорит Никитин о своей молодости. Такие дети обыкновенно рано начинают присматриваться к жизни и рано задумываются над ней. Уже в детстве у мальчика начинает сильно работать воображение. Едва выучившись грамоте, он уже до страсти предается чтению книг, разумеется, читая без всякого разбора все, что попадалось под руку; тут были и “Мальчик у ручья” Коцебу, и “Луиза, или Подземелье Лионского замка” Радклиф, и наши старинные поэты, и книги религиозно-нравственного содержания, которые находились в библиотечке отца. Другим его любимым развлечением было убегать по ночам к старику-сторожу, который рассказывал ему сказки. Но самыми отрадными минутами для ребенка-Никитина были те, которые удавалось ему проводить среди приволья природы; лес, луга, поля – вот что манило его в детстве и оставило светлое,

жизнерадостное чувство, так прекрасно излившееся потом в его стихах. Дом, где жили тогда Никитины, находился в живописной части города, расположенной на высоких горах по берегу реки; отсюда открывалась прекрасная панорама заречной части города. В этой полугородской, полудеревенской обстановке прошло детство мальчика. Первым учителем Никитина был сапожник, который давал ему уроки грамоты в своей мастерской, тачая сапоги. Когда ребенку минуло восемь лет, его отдали в духовное училище. Нетрудно понять, почему отец Никитина предпочел сделать такой выбор; нужно вспомнить, что сам он происходил из духовной среды, что с ней, кроме того, он имел постоянные сношения и по роду своей торговли. Впрочем, Никитин не имел в виду готовить сына к духовному званию; планы его шли дальше: со временем он хотел видеть сына в университете, в надежде, что из него выйдет доктор. Как увидим далее, этим добрым намерениям не суждено было исполниться. О первых годах школьной жизни Никитина нам, к сожалению, почти ничего не известно. Но надо думать, что дореформенная бурса со своими грубыми, исстари установившимися нравами, которые так живо изобразил Помяловский в известных “Очерках бursы”, была одинакова везде. Какая педагогическая система практиковалась тогда в воронежском училище, можно видеть из одного отрывочного воспоминания Никитина об этом времени его жизни.

“Помню я, был у нас учитель во 2-м классе училища, Алексей Степанович, коренастый, с черными нахмуренными бровями. Вызовет он, бывало, тебя на средину класса и крикнет: “Читай!” А из глаз так и сверкают молнии. Взглянешь на него украдкой и начнешь изменяться в лице, в голове пойдет путаница, и все вокруг тебя заходит: и ученики, и учитель, и стены... и понесешь такую дичь, что после самому станет стыдно. “Не знаешь, негодяй! – зарычит учитель. – К порогу!” И начнется, бывало, жаркая баня”.

Это было альфой и омегой всей тогдашней педагогической мудрости, унаследованной, кажется, еще от Средних веков. Только в сравнительно недавнее время, в начале семидесятых годов, реформа коснулась и бursы, разрушила всю старую педагогическую систему, внесла в нее новый дух и нравы. В 1841 году, по окончании училища, Никитин был переведен в духовную семинарию. Здесь для молодого человека начался новый период жизни, непродолжительный, так как Никитин прошел только два класса, но сильно повлиявший на строй его ума и дальнейшее развитие. Описание семинарской жизни сделано впоследствии

самим Никитиным в его “Дневнике семинариста”. Все эти очерки проникнуты горечью и недовольством, которые автор вынес из семинарии. И действительно, серенькая, запертая в четырех стенах, с бедной обстановкой и полумонастырской дисциплиной, тогдашняя жизнь в семинарии не могла оставить по себе доброй памяти. Само образование носило сухой и безжизненный характер. Лекции обыкновенно читались профессорами (как тогда называли преподавателей семинарии) по старым, давно составленным тетрадкам, написанным темным и витиеватым языком. Некоторые профессора, чтобы не трудиться над составлением записок, не мудрствуя лукаво, читали по старым академическим тетрадкам, по которым учились сами. Уроки, правда, не оживлялись грубыми и возмутительными сценами вроде вышеприведенной, но зато апатия и скука царили здесь. Вот, например, сцена русской истории из “Дневника семинариста”:

“Яков Иванович читает по старой почтенного вида тетрадке, которая каждый раз закладывается продолговатой, нарочно для этого вырезанной бумажкой; место же, где ударом звонка было прервано чтение, отмечается слегка карандашом, который вытирается потом резиною... Начинается тихое, мерное чтение. Читает он полчаса, читает час, порой протирает очки – вероятно, глаза несчастного подергиваются туманом – и опять без умолку читает. И нет ему никакого дела до окружающей его жизни, точно так же, как никому из окружающих нет до него ни малейшей нужды. Ученики занимаются тем, что им более нравится или что они считают для себя более полезным. Некоторые ведут разговор о взаимных похождениях, некоторые переписывают лекции по главному предмету, а некоторые сидят за романами. Если чей-нибудь неосторожный голос или смех прервет мерное чтение почтенного наставника, он поднимет свои вооруженные глаза на молодежь и громко скажет: “Пожалуйста, не мешайте мне читать!”

Несмотря на солидность наук, входивших в круг семинарского образования, такое безжизненное преподавание не могло расширить умственные интересы учеников, вызвать в них пытливость и осмысленное отношение к науке. Зубристика преобладала. Таким же сухим и схоластическим характером отличались и темы сочинений, которые задавались семинаристам. Например: “Знание и ведение суть ли

тождественны?” Или: “Каким образом ум как источник идей может служить средством к приобретению познаний?” Над такими сочинениями молодые головы могли изощряться только в риторических и диалектических тонкостях, но живой и плодотворной пищи для ума тут не было.

Но как ни бесцветна в то время была жизнь в воронежской семинарии, у нее, однако, были и свои хорошие предания. Лет за десять до поступления Никитина среди семинаристов выделялась прекрасная личность Серебрянского, который был другом Кольцова и несомненно имел большое влияние на его талант. Умный, даровитый, с поэтической душой, Серебрянский был кумиром для молодежи; вокруг него собирался оживленный семинарский кружок, в котором велись горячие споры, говорились речи, читались стихи, обсуждались различные вопросы, волновавшие тогдашнее образованное общество. Имя Серебрянского долго пользовалось обаянием в воронежской семинарии, и в то время, когда поступил Никитин, еще ходили по рукам его рукописные стихотворения. Это создавало своего рода литературные традиции. Прежнего кружка, впрочем, не было, потому что не было такого, как Серебрянский, человека, который мог бы оживлять его и быть центром, но все-таки между семинаристами было сильное увлечение литературой. Интерес к ней еще более подогревался той популярностью, которую окружено было в Воронеже имя Кольцова, в то время только что сошедшего в могилу. С этим именем соединялось имя его друга, Белинского, пламенные статьи которого производили тогда глубокое впечатление. На развитие семинариста Никитина эти статьи имели такое сильное влияние, что его не в состоянии были вытравить даже последующие десять лет жизни среди убийственной обстановки постоянного двора. Можно сказать, что Никитин, как и многие из его современников, воспитался на статьях Белинского; они открыли ему другие, высшие потребности, нежели те, с которыми он был знаком по жизни в кругу своей семьи и в семинарии. Здесь поэтому будет уместно еще раз напомнить о том значении, которое имел для своего времени Белинский.

Вся умственная жизнь тогдашнего русского общества сосредоточивалась на литературе. Несмотря на крайне неблагоприятные условия, в которые была поставлена журналистика и вообще литература сороковых годов, происходило движение, приведшее к решительному перевороту в этой области, к перемене всех старых, отживших взглядов и традиций. Литература, писанная, по выражению Гоголя, “слогом помадных объявлений” и доказывавшая, что мы живем в

прекраснейшем из миров, доживала свои последние дни. На смену ей выступала новая, “натуральная” школа, которая шла по пути, указанному Гоголем, и начала изображать действительную жизнь без всяких ложных прикрас. Литература перестает быть каким-то случайным и внешним украшением жизни, напротив – она тесно примыкает к жизни и сливается с ней. Главная заслуга в этом перевороте принадлежит Белинскому. Уже в одной из своих первых статей Белинский ясно и определенно указал, какое место должна занимать литература в отношении к жизни. Она есть плод “свободного вдохновения и дружных усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнью которого они живут и духом которого они дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений” (“Литературные мечтания”). Вместе с тем изменяется и сама задача художественного творчества. Писательство из ремесла, предназначенного для забавы, для развлечения скушающего читателя, обращается в дело общественного служения. Задача писателя – “глаголом жець сердца людей”, служить лучшим интересам человеческой мысли и нравственному совершенствованию того общества, в котором он живет. По самой природе своей, являясь человеком, глубоко преданным правде, страстно ищущим ее во всем, человеком, для которого “жить и писать, писать и жить” значит одно и то же, Белинский был бичом для всех мнимых талантов, для пошлости и фальшивой напыщенности в литературе, вместе с тем выделяя и горячо приветствуя все, что “было в ней правдой и красотой”, по выражению И. С. Тургенева. То отрицательное отношение к разным темным сторонам нашей тогдашней общественной жизни, к которому, как известно, пришел Белинский в конце своей деятельности, отношение, доставившее ему столько врагов при жизни и даже после смерти, было вызвано тем же страстным стремлением к нравственной правде, которым проникнута была вся деятельность критика, его представлением о человеческом достоинстве и осознанием необходимости просвещения, недостаток которого так сильно чувствовался тогда. Действуя посредством литературы, развенчивая в ней множество фальшивых и вредных понятий, Белинский тем самым способствовал установлению новых не только литературных, но и общественных взглядов. Может быть, некоторые из этих взглядов и требований были не совсем определены – такие упреки не раз делали литературе сороковых годов, забывая, впрочем, что

причиною этого могли быть и “не зависящие” от нее обстоятельства, – но во всяком случае искренний идеализм Белинского был несомненно огромной нравственно-воспитательной силой для целого ряда поколений.

На тогдашнюю молодежь пламенные статьи Белинского производили чрезвычайно сильное впечатление; их читали, штудировали, даже заучивали наизусть, у семинаристов, конечно, не могло образоваться от этого чтения какого-либо цельного и определенного мировоззрения; но, во всяком случае, его влиянию нужно приписать ту любовь к знанию и литературе и те, может быть, смутные, но хорошие стремления, которые так глубоко проникли в душу Никитина еще на семинарской скамье и помогли ему впоследствии выйти на “дорогу новой жизни”. Увлечение литературой, в особенности же стихотворениями Кольцова, заставило Никитина уже в семинарии испытать свои силы на этом поприще. Первое свое стихотворение он показал профессору словесности Чехову, который одобрил этот опыт и советовал продолжать. С этих пор сочинение стихов сделалось любимым занятием Никитина, своего рода потребностью: оно заменяло ему игры и товарищеские беседы. Между товарищами за Никитиным скоро установилась репутация семинарского поэта. Первые опыты Никитина не сохранились, и потому мы не можем судить о них. Но, должно быть, это были только слабые подражания другим поэтам; при совершенной отчужденности от общества и замкнутости в себе содержание их по необходимости должно было ограничиваться картинами природы и внутренним миром.

Никитин в это время был уже юношей лет восемнадцати, цветущим, здоровым и красивым. По характеру он, как и в детстве, оставался сосредоточенным и нелюдимым. Даже в эту лучшую пору жизни, когда сердце так раскрыто для привязанности, Никитин, кажется, не знал ни любви, ни дружбы. “Сложившаяся таким образом жизнь, – справедливо замечает М. Ф. Де-Пуле, – уже имела сама в себе источник будущих страданий: молодой человек развивался насчет одного ума, сердце черствело и замыкалось... Чувствовалось, что по натуре, по душе Никитина прошла когда-то сильная струя холода, оставившая в ней на всю жизнь неизгладимый след; она была постоянно помехой, по которой вспыхивающая в душе его страсть никогда не разгоралась пламенем общего пожара”. Нелюдимость, приниженность и недоверие к людям выработались в Никитине очень рано под влиянием грубого и деспотичного нрава отца. Семинарское воспитание не могло искоренить этих качеств, скорее всего оно же и укрепило их, а те идеи и “возвышенные

стремления”, которые семинарист Никитин мог вынести из книг, еще более усиливали в его душе разлад между этими представлениями и грубой прозой мещанско-торгашеской жизни. Рано развившаяся в молодом человеке рефлексия, способность критически смотреть вокруг себя выдвинули его из темной среды, но они же всю жизнь были для Никитина источником глубоких страданий. “Если б вы знали, – писал Никитин в одном письме, – какие сцены окружали меня с детства, какая мелочная, но, тем не менее, страшная драма разыгрывалась перед моими глазами, – драма, где мне доводилось играть роль, возмущавшую меня до глубины души!” Дальнейшие обстоятельства жизни еще более усилили тяжесть положения молодого человека.

В то время, когда Никитин учился в семинарии, увлекаясь Белинским и стихами и мечтая уже об университете, в его семье подготавливалась катастрофа. Торговые дела отца Никитина шли все хуже и хуже. Свободная прежде торговля восковыми свечами сделалась монопольной, приказчики, ездившие по ярмаркам, обкрадывали своего хозяина, кредиторы не платили долгов. В конце концов все это привело к тому, что весьма значительное раньше состояние Никитиных рухнуло; завод восковых свеч и дом они должны были продать, а вместо этого могли купить себе только плохой постоялый двор, который отдавали в аренду, а сами помещались в маленьком флигеле. Это была уже бедность, тем более тяжелая и унижительная, что она сменила материальное довольство и тот почет, которым благодаря ему прежде пользовались Никитины. Но хуже всего было то, что эти неудачи повели за собой и нравственное падение семьи. Отец Никитина с горя начал прибегать к обычному утешению русского человека – начал пить; это обернулось у него в страсть, которая уже не оставляла его до конца жизни. Тем же недугом заразилась и жена Никитина... При таких прискорбных семейных обстоятельствах молодой Никитин оканчивал философский класс семинарии. Несмотря на полное расстройство дел, отец его, по-видимому, не хотел отказаться от своего намерения послать сына в университет. Но решительной противницей этого явилась мать Никитина: она умоляла мужа не отсылать от себя сына, а поскорее женить его и посадить в лавку, которая еще кое-как держалась. Первый из этих планов не осуществился только потому, что не нашлось подходящей невесты; во всяком случае, Никитин должен был оставить ученье и очутился за прилавком.

Неизвестно, какую роль играл сам Никитин в этот решительный момент своей жизни: подчинился ли он покорно силе обстоятельств или делал какие-либо попытки изменить семейное решение, – никаких данных для того, чтобы судить об

этом, мы не имеем. Очень может быть, что с его стороны было желание принести себя в жертву для поддержания семьи... Как бы то ни было, но с этих пор для молодого человека начался новый и самый темный период его жизни, который продолжался почти десять лет. Все, чем до сих пор жил семинарист Никитин, весь этот радужный мир планов и мечтаний о другой жизни, который возник, пока он сидел на школьной скамье, пришлось похоронить; впереди была суровая, весьма неприглядная действительность. К сожалению, об этом времени жизни Никитина сохранились только отрывочные сведения, и мы можем только приблизительно представить себе, какие испытания пришлось переживать молодому человеку. Отголоски этого настроения часто слышатся в его позднейших стихотворениях.

Мучительные дни с бессонными ночами,
Как много вас прошло без света и тепла!
Как вы мне памяты тоскою и слезами,
Потерями надежд, бессильем против зла!

Но возвратимся к рассказу. От прежнего богатства Никитиных остался только плохой доход с постоянного двора. Лавку, которая вначале еще кое-как держалась, они скоро должны были закрыть, а вместо этого Иван Саввич в праздники выходил торговать свечами на столах, которые расставлялись на городской площади. Толпа торговцев не упускала при этом случая поиздеваться над “студентом”, как в насмешку они называли Никитина. Между тем отец его почти не занимался делами. Несчастная страсть к запою развивалась в нем все сильнее, и под ее влиянием его нрав, необузданный и раньше, теперь обратился в самое дикое самодурство, которое всей тяжестью обрушивалось на сына. Жены, которую Никитин любил, и которая могла бы сколько-нибудь сдерживать его, уже не было: она умерла через полгода после выхода сына из семинарии. На оргии и кутежи уходило последнее состояние; все, что можно было прожить, проживалось. Сын все это видел, мучился, но оказать какое-либо сопротивление был не в силах: всякое противоречие только вызывало взрывы самодурства со стороны отца. Почти каждый день Никитину приходилось переносить сцены вроде следующей:

– Иван Саввич, – кричал расхोлившийся отец, – а кто дал тебе образование, кто вывел в люди? А? Не чувствуешь! Не считаешь отца! Не кормишь его хлебом! Вон из моего дома...

Все это приправлялось бранью, а часто и побоями. Легко представить, какое мучительное состояние испытывал Никитин от таких сцен, и сколько озлобления накапливалось в его душе.

Между ним и отцом за это время установились весьма прискорбные отношения, в которых была доля затаенной вражды, не прекратившейся до самой смерти поэта. Отец, конечно, по-своему любил сына и знал ему цену, его успехами сначала в науках, а потом на литературном поприще он гордился; но природная грубость вместе с несчастной слабостью, которой он предавался, все-таки брали верх; переменить себя он был не в состоянии, если и хотел. За периодами спокойствия опять начинались семейные бури и мучительство. В такие моменты состояние Никитина, только что оставившего школьную скамью, проникнутого теми, может быть, смутными, но благородными стремлениями, которые возбудило в нем знакомство с тогдашней литературой, доходило до отчаяния. Вначале он, по-видимому, совсем упал духом. “Страдающий, мечтающий, загнанный, часто голодный, сидел упырем этот юноша дома или лежал на сеновале с книгою в руках, или бродил по городу и его окрестностям без всякого дела”. К этому нужно прибавить полное одиночество его, отсутствие человека, в котором он мог бы найти поддержку и ободрение. Пробовал было Никитин предлагать свои услуги в качестве приказчика некоторым из воронежских купцов – его не принимали: для такой роли считали неподходящим образованного молодого человека, “студента”. Кроме того, дурная репутация отца бросала тень и на сына.

Однако молодая натура не могла долго оставаться без всякой деятельности. Пришлось примириться с положением и принять ту роль, которая волей-неволей предлагалась обстоятельствами. И вот, надев чуйку, подрезав волосы в кружок, Никитин принялся дворничать. Арендатора он устранил и все хозяйство постоянного двора забрал в свои руки, то есть, по местному выражению, сделался “дворником”. Пришлось зазывать к своему двору извозчиков, ухаживать за ними, выдавать им овес и сено, иногда даже самому стряпать для них.

Несмотря на грязь и мелочность таких забот, все-таки это было живое дело, которое спасало молодого человека от полного уныния, а может быть и от падения; спасало, кроме того, и от нищеты, к которой неизбежно пришли бы Никитины благодаря беспутному образу жизни отца. Забрав в свои руки хозяйство, Никитин, конечно, почувствовал себя более самостоятельным, хотя это и не избавило его от своеволия отца, который продолжал пить и буйствовать. Отношения между ними по-прежнему оставались неровными и натянутыми. В маленькой семье Никитиных, состоящей из этих двух лиц, постоянно разыгрывалась семейная драма, в которой самая тяжелая роль выпадала на долю сына. В периоды запоя он терпеливо и покорно

ухаживал за отцом; но когда тот отрезвлялся, платил ему дерзостью за предыдущие оскорбления. “Я в состоянии убить того, кто решился бы обидеть старика в моих глазах; но когда он отрезвляется и смотрит здравомыслящим человеком, вся желчь приливает к моему сердцу, и я не в силах простить ему моих страданий”, – так объяснял Никитин свое отношение к отцу. На его восприимчивую и нервную натуру эти ежедневно повторявшиеся грубые сцены производили угнетающее впечатление; они, может быть, определили тот мрачный колорит, которым отличался его характер. Даже в лучшую пору жизни, когда счастье обернулось к Никитину и согрело его своими лучами, скорбные отголоски тяжелого прошлого постоянно слышатся в его стихотворениях.

Все, что грязного есть в жизни бедной, —
И горе, и разгул, кровавый пот трудов,
Порок и плач нужды, оборванной и бледной, —
Я видел вокруг себя с младенческих годов.

Такую жизненную школу пришлось проходить нашему поэту-дворнику. Счастлив тот, кто вышел с победой из такой борьбы и сохранил в себе способность так живо сочувствовать страданиям других! Жизнь на постоялом дворе поставила Никитина лицом к лицу с простым народом, дала ему возможность близко узнать его быт, его радости и горе. Несмотря на свое отвращение к “грязной действительности”, которою представлялась Никитину его жизнь на постоялом дворе, он сумел найти в ней стороны, вызвавшие к себе глубокую симпатию в душе поэта. Сочувствием к бедности, к ее непритворному горю, ко всем угнетенным и обездоленным проникнуты лучшие произведения Никитина.

Почти десять лет жизни на постоялом дворе, меркантильность и мелочность интересов, в кругу которых все это время вращался Никитин, не могли, однако, заглушить в нем тех семян, которые запали в его душу уже на школьной скамье. “Окруженный людьми, лишенными малейшего образования, – писал впоследствии Никитин, – не имея руководителей, не слыша разумного совета, за что и как нужно взяться, я бросался на всякое сколько-нибудь замечательное произведение, бросался и на посредственное. Продавая извозчикам овес и сено, я обдумывал прочитанные мною и поразившие меня строки, обдумывал их в грязной избе под крик и песни разгулявшихся мужиков... Найдя свободную минуту, я уходил в какой-нибудь отдаленный уголок моего дома. Там я знакомился с тем, что составляет гордость человечества, там я слагал скромный стих,

просившийся у меня из сердца. С летами любовь к поэзии росла в моей груди, но вместе с тем росло и сомнение: есть ли во мне хоть искра дарования?” Такое сомнение могло бы вконец убить дарование, но, к счастью для Никитина, судьба послала ему поддержку: в это время он сблизился с одним молодым человеком, И. И. Дураковым, в котором нашел сочувствие своим литературным наклонностям. Эта дружба оказала благотворное влияние на Никитина. В лице Дуракова он нашел человека, с которым мог делиться всеми своими мыслями, нашел, наконец, внимательного слушателя своих произведений. Вероятно, под влиянием Дуракова Никитин решился послать некоторые из своих стихотворений в редакции столичных журналов. Первый шаг оказался неудачным – ответа не последовало никакого. В 1849 году он снова решается попытать счастья, но уже поближе: два из своих стихотворений (“Лес” и “Дума”) посылает в редакцию “Воронежских губернских ведомостей”. Должно быть, робость Никитина заставила его послать эти стихи без полной подписи, только с инициалами. Редакция “Воронежских губернских ведомостей” нашла эти стихотворения настолько замечательными, что готова была, выходя из своей программы, напечатать их, но предварительно просила автора открыть свое имя. Никитин не решился сделать этого, и его стихотворения на этот раз не увидели света. Только в конце 1853 года Никитин снова решился сделать попытку – на этот раз уже более смелую – выступить в печати. Под влиянием патриотического воодушевления, охватившего наше общество в то время, при начале Крымской войны, он написал стихотворение “Русь”; это стихотворение и еще два других (“Поле” и “С тех пор, как мир наш необъятный...”) послал он через Дуракова редактору “Воронежских губернских ведомостей” В. А. Средину вместе с письмом, в котором между прочим писал: “Я – здешний мещанин. Не знаю, какая непостижимая сила влечет меня к искусству, в котором может быть я – ничтожный ремесленник! Какая непонятная власть заставляет меня слагать задумчивую песнь в то время, когда горькая действительность окружает жалкою прозою мое незавидное существование! Скажите, у кого мне просить совета и в ком искать теплого участия? Круг моих знакомых слишком ограничен и составляет со мной решительный контраст во взглядах на предметы, в понятиях и желаниях. Быть может, мою любовь к поэзии и мои грустные песни вы найдете плодом раздраженного воображения и смешною претензией выйти из той сферы, в которую я поставлен судьбой. Решение этого вопроса я предоставляю вам и, скажу откровенно, буду ожидать этого решения не совсем равнодушно: оно покажет мне или, мое

значение, или мою ничтожность, мое нравственное – быть или не быть?”

Робость, приниженность, неуверенность в себе сквозят в каждой строчке этого письма. Из этого отрывка, который мы привели, можно видеть, что в лице Никитина выступал на литературное поприще не “поэт-самоучка” вроде Кольцова, как вначале смотрели на Никитина, а человек со значительной уже литературной подготовкой, образованный. Такое письмо со стороны мещанина Никитина, содержателя постоянного двора, было, конечно, явлением очень странным, как и все его произведения, в которых ничего “самородного” и “дворнического” не было. А этого именно у него искали, и положение Никитина на первых порах многих вводило в заблуждение. К счастью для Никитина, на этот раз вопрос быть или не быть, остаться навек дворником или выйти на “дорогу новой жизни”, о которой он так долго мечтал, был решен в его пользу. Присланные стихотворения, в особенности же их автор, заинтересовали кружок людей, стоявших во главе воронежской интеллигенции. Это были Н. И. Второв, К. О. Александров-Дольник, В. А. Средин и другие, о которых мы поговорим в следующей главе. Второв захотел сейчас же познакомиться с автором-дворником. И вот к Никитину, с трепетом ожидавшему решения своей судьбы, приходит его знакомый, Рубцов, и зовет его к Второву. “Бледный, худощавый, выглядивавший как-то исподлобья, в длинном сюртуке, – так описывает эту встречу Второв, – Иван Саввич робко следовал за Рубцовым, и когда последний с торжеством объявил, что это тот самый Никитин, с которым я желал познакомиться, он, словно подсудимый, призванный к ответу, стал извиняться, что позволил себе такую дерзость, т. е. написал письмо и пр. Насилу мог я его усадить; но и затем, как только начинал я говорить с ним, он тотчас же вскакивал, и немалых усилий стоило мне уговорить его вести разговор со мною сидя. Из разговора нашего, который скоро обратился к литературе, оказалось, что Иван Саввич много читал, но много также оставалось ему еще неизвестным. Он с радостью принял мое предложение пользоваться моею небольшою библиотекою и на первый же раз запаса “Дэвидом Копперфилдом” Диккенса”. Второв сразу же угадал в робком и приниженном мещанине даровитую натуру, которую нужно было только отогреть. Между ними с этого времени началось знакомство, перешедшее потом в дружеские отношения, которые продолжались до конца жизни Никитина.

Стихотворение “Русь”, а затем и другие: “Война за веру”, “Моление о чаше”, – были напечатаны в “Воронежских губернских

ведомостях” и произвели сильное впечатление. О Никитине заговорили как о “поэте-самородке”, его стихотворения переписывались и ходили по рукам, некоторые столичные журналы перепечатали их. Незнакомое до тех пор имя поэта-дворника вдруг сделалось популярным в Воронеже; Никитиным интересовались, многие искали с ним знакомства. Из узкого круга дворнической жизни Никитин попадает в лучшее воронежское общество; им интересуются, ему оказывают внимание даже люди, занимающие высокое положение. Скоро его имя делается известным даже в столицах, куда также дошла весть о появлении в Воронеже нового “народного поэта”.

Несомненно, что уже первые стихотворения Никитина, сделавшиеся известными публике: “Русь”, “Война за веру” и другие, – отличаются от заурядного стихотворства и носят признаки таланта, но, во всяком случае, тот громкий успех и те восторги, которыми они были встречены, следует признать преувеличенными и преждевременными. Талант Никитина развился и нашел себе настоящую дорогу позже, а пока эти первые опыты были, как и всегда бывает, только робким подражанием другим поэтам и в сущности, кроме звучных стихов, ничего замечательного не представляли. Наделавшее столько шума и доставившее Никитину известность стихотворение “Русь” по форме представляет подражание Кольцову, а по содержанию наполнено более или менее общими местами о величии России, ее громадности, материальной силе и т. п. В стихотворении “Война за веру” повторяются некоторые мотивы “Клеветникам России” Пушкина. Успех, выпавший на долю этих произведений, объясняется тем патриотическим возбуждением, в котором находилось в то время, в начале Крымской войны, наше общество, а еще больше – положением автора этих стихотворений: в лице Никитина ожидали найти такой же талант самородок, вышедший из простого народа, каким был Кольцов. Мы уже видели, какую школу прошел Никитин, под каким влиянием ему пришлось развиваться, и понимаем, как далек он был от того простого и непосредственного отношения к жизни, которое так привлекательно в поэзии Кольцова и составляет ее оригинальность и прелесть. Сравнение между Никитиным и Кольцовым, как ни естественно оно было ввиду одинакового происхождения и положения обоих поэтов, было вызвано недоразумением, которое сначала послужило Никитину на пользу, создало ему быстрый успех, но затем обратилось против него: не найдя в Никитине народного поэта в духе Кольцова, некоторые совершенно отказывались признать в нем оригинальный талант и видели только подражателя. Обе точки

зрения были одинаково неправильны, как доказала дальнейшая литературная деятельность Никитина. Оценку его произведений мы сделаем ниже, а пока отмечаем только эти обстоятельства для характеристики того положения, которое занял наш поэт-дворник среди воронежского общества.

ГЛАВА II. ПОЭТ-ДВОРНИК И ВОРОНЕЖСКИЙ КРУЖОК

Воронежское общество в начале пятидесятых годов. – Н. И. Второв и его кружок. – И. А. Придорогин. – Влияние кружка на Никитина. – Его популярность в Воронеже. – Знакомства. – Перемена в положении. – Литературная деятельность, – Первое издание стихотворений. – Болезнь Никитина и уныние. – Отъезд Второва. – Издание “Кулака”

В конце сороковых и в начале пятидесятых годов Воронеж выделялся своей интеллигенцией среди наших провинциальных городов. Здесь в это время собралось много питомцев университетов Московского, Петербургского и Харьковского, занимавших различные должности по административной и педагогической части. Все это были по большей части люди молодые, энергичные, проникнутые любовью к науке и литературе и вносившие оживление в умственную жизнь провинциального общества. Приливом интеллигенции Воронеж прежде всего был обязан своей близости к Харьковскому университету, который вообще был в то время главным рассадником просвещения для всего южного края; из его питомцев, уроженцев Воронежской губернии, выделилось немало людей, занявших почетное место в науке и литературе, например Станкевич, Костомаров, Никитенко, Сухомлинов, Афанасьев и др. В конце сороковых годов наплыву интеллигенции в провинцию много способствовало вышедшее в то время запрещение молодым людям, получившим образование в университетах, начинать службу в столицах. Наконец, также немаловажную роль в этом сосредоточении в Воронеже образованных людей играл основанный здесь в 1845 году кадетский корпус, собравший вокруг себя молодые педагогические силы.

Как известно, тридцатые и сороковые годы были у нас временем литературных кружков.

В этих дружеских кружках, в которых сосредоточивались лучшие умственные силы, переживалось все, что только занимало и волновало тогда лучшую часть русского общества: то отвлеченности гегелевской философии, то литература, то вопросы общественной жизни. Известно, какое важное значение имели в истории умственного развития нашего общества такие кружки, как московские Станкевича, Белинского и Грановского или Аксаковых и Киреевских и подобные же им петербургские. Это были главные умственные центры. По примеру их

провинциальная интеллигенция также соединялась в кружки, очень часто имевшие какие-либо сношения со столичными; все, что делалось в центрах, было известно, обсуждалось и здесь. Во второй половине пятидесятых годов происходит распадение кружков как в столицах, так и в провинции; но в то время, когда Никитин выступил на литературное поприще, в Воронеже еще существовал такой кружок, соединявший в себе лучшие интеллигентные силы. Во главе его стоял Н. И. Второв, занимавший в то время солидный административный пост в городе. Воспитанник Казанского университета, Второв начал свое служебное поприще в Казани при канцелярии военного губернатора, а затем – библиотекарем университета; в то же время он редактировал местные “Губернские ведомости” и усердно занимался археологией и этнографией края. Затем, после путешествия по Остзейским губерниям, доставившего ему богатый этнографический материал, Второв служил некоторое время в Петербурге, где, между прочим, у него завязались литературные знакомства в кружках князя В. Ф. Одоевского, графа Соллогуба и Даля. В конце сороковых годов Второв перешел на службу в Воронеж.

Вместе с ним туда же перешел на службу его родственник и товарищ по университету К. О. Александров-Дольник. В Воронеже они оба ревностно принялись за изучение этнографии, истории и археологии края, занимались собиранием древних грамот, в результате чего получилось солидное издание “Воронежских актов” XVI и XVII столетий. Эта цель привлекла к ним много интеллигентных сил города. Скоро вокруг Второва и Дольника собрался кружок, в который входили люди разных поколений и профессий: чиновники, педагоги, студенты, купцы – словом, все, кто только хотел внести свою долю участия в изучение края, кто искал живого умственного дела, предпочитая его развлечениям светской жизни. “Все, что было в Воронеже мыслящего, Второв сумел собрать вокруг себя, сумел воодушевить и подвинуть на работу”. Этому много помогало обаяние его симпатичной личности, его благородный и обходительный характер. Кружок собирался в квартире Второва. Здесь происходило сближение с новыми людьми, кипели горячие споры, обсуждались разные вопросы, которые занимали тогда общество. Благодаря столичным знакомствам Второва его кружок находился в постоянных сношениях с московскими и петербургскими кружками, откуда, таким образом, не прекращался приток новых идей.

Одной из интересных личностей этого кружка был И. А. Придорогин. По происхождению сын воронежского купца,

воспитанник Московского университета, поклонник Белинского и Грановского, это был один из “идеалистов сороковых годов” или, если угодно, один из тех “лишних людей”, которых так прекрасно изображал И. С. Тургенев (например в “Дворянском гнезде” в лице Михалевича). Вспомните:

Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как младенец душою я стал...
Я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

В этом целая характеристика таких людей. Непрактичный, как и все идеалисты, до конца жизни не сумевший устроить свои дела, живший в кругу отвлеченностей, Придорогин всегда чем-нибудь увлекался, волновался, протестовал (за один из своих протестов против произвола местной администрации ему, между прочим, пришлось поплатиться арестом на гауптвахте). По образу мыслей он был либералом и отрицателем в духе тогдашней литературы, но, несмотря на злой язык, которого боялись некоторые, в сущности он был человеком с нежной и любящей душой, способным привязываться всем сердцем. Неудивительно, что он один из первых принял самое живое участие в судьбе поэта-дворника. В кружке Второва пылкий и увлекающийся Придорогин как бы противостоял самому Второву с его холодной деловитостью и вносил сюда свой энтузиазм и оживление. “Протестантом и радикалом, – говорит Де-Пуле, – он был страшным (конечно на словах), когда речь заходила о крепостном праве: чего-чего не говорил он тут, каких не сочинял ужасов. До 1857 г. почти ни одна наша беседа не обходилась без его горячих филиппик”.

Кроме этих лиц, живое участие в судьбе Никитина приняли А. П. Нордштейн и М. Ф. Де-Пуле (в то время преподаватель воронежского корпуса), сделавшийся другом поэта, а после его смерти – его биографом.

Второе ввел Никитина в свой кружок. Личность поэта-мещанина, затерявшегося на постоялом дворе, владеющего литературным языком, пишущего стихи, живя среди извозчиков, конечно, возбудила общий интерес. Прежде всего, в нем хотели открыть новый талант-самородок, народного поэта вроде Кольцова, память о котором была еще так свежа в Воронеже. Приписать себе честь такого открытия было, конечно, очень заманчиво, и некоторые из новых друзей Никитина, кажется, слишком поторопились это сделать; благодаря им слух о Никитине как о новом народном поэте быстро распространился за

пределами Воронежа. Впоследствии это только повредило Никитину: на него возложили такие ожидания, ему предъявляли такие требования, которых он выполнить не мог, потому что они совершенно не соответствовали его дарованию. “Знаете ли, – писал Никитину А. Н. Майков (хотя и не знавший его лично), – что я завидую вам? Завидую тому, что вас воспитала и вскормила сермяжная Русь, следовательно, вы должны знать ее лучше меня”. Нет сомнения, что сын мещанина, содержатель постоянного двора, Никитин хорошо знал эту “сермяжную Русь”, но А. Н. Майков ошибался, думая, что она воспитала и вскормила его, – конечно, если говорить о воспитании не физическом, а духовном. Такой же “самобытности и народности” требовал от Никитина и один из лучших тогдашних критиков, Ир. И. Введенский, опять-таки не знавший Никитина лично, но убеждавший его письменно не менять свой постоянный двор на “искусственный кабинет петербургского или московского литератора”. Вся ошибка была в том, что Никитин уже в первых своих произведениях является не самобытным народным поэтом, каким его считали, а литератором, хотя еще и без определенной физиономии.

Впрочем, и помимо литературной стороны в самой личности Никитина было многое, что возбуждало к нему интерес в людях того кружка, в который он так робко вступил. В этом приниженном, забитом нуждою дворнике чувствовалась богато одаренная натура, сохранившаяся наперекор обстоятельствам. Как мы уже знаем, первым, кто оценил это и принял живое участие в судьбе Никитина, был Н. И. Второв. “С первой поры моего знакомства с Никитиным, – говорит он, – я привязался к нему всей душой. Я полюбил в нем просто человека, человека с благороднейшей душой, с тонким, изящным чувством, какого редко встретишь не только в той среде, в которой он воспитывался, но даже и в так называемой благовоспитанной”. С этих пор между ними установились близкие, дружеские отношения, оказавшие благотворное влияние на Никитина. Второв ввел его в кружок просвещенных людей, помогал его развитию, был опытным руководителем при первых шагах его на литературном поприще. Без такого содействия судьба Никитина была бы, вероятно, иная. Много талантов погибло у нас без следа, не успев расцвести, будучи не в силах бороться с обстоятельствами, с равнодушием и холодностью.

Никитин сначала дичился и неохотно заводил знакомства. Даже Второв должен был по несколько раз повторять приглашение, чтобы видеть его у себя. Но мало-помалу теплые симпатии новых знакомых отогрели поэта. (Кроме Второва и Придорогина Никитин ближе всего сошелся с А. П. Нордштейном

и несколько позже с М. Ф. Де-Пуле). В это время он переживал самый счастливый момент своей жизни. После нескольких лет тяжелых испытаний Никитин узнал наконец высшие радости, доступные человеку и писателю: его признали поэтом, его скромные стихи, которые он прежде, как преступление, тщательно скрывал, теперь читались всеми, производили впечатление, его имя сделалось известным далеко за пределами Воронежа. Не только печатные, но даже рукописные стихотворения Никитина быстро распространялись по городу, о нем заговорили в разных слоях общества, с ним наперерыв искали знакомства, даже люди высокопоставленные спешили оказать ему внимание. Между прочим, одной из ревностнейших почитательниц Никитина сделалась жена тогдашнего воронежского губернатора, княгиня Е. Г. Долгорукая, которой в особенности нравились его стихотворения религиозного содержания, например “Моление о чаше”. Скоро имя Никитина проникло и в столичную печать. Первые известия о нем вместе с несколькими стихотворениями были напечатаны в “Москвитянине” графом Д. Н. Толстым, узнавшим о Никитине от Второва. Вместе с этим граф Толстой сделал предложение Никитину издать на свой счет собрание его стихотворений. Никитин по-прежнему оставался содержателем постоянного двора, но нравственное состояние его совершенно изменилось: он теперь вышел из узкого круга дворнической жизни, сделался членом образованного общества, которое так приветливо встретило его. Вместе с этим значительно изменилось и его материальное положение: гонорары, которые Никитин начал получать за свои стихотворения, в особенности же порядочная сумма, вырученная от продажи книжки, дали ему возможность устроить свое положение к лучшему; он освободился от грязной возни с извозчиками, нанял приказчика, завел даже лошадь. Те, которые познакомились в это время с Никитиным, ожидая найти в нем простого мещанина в чуйке, подстриженного в кружок, были очень разочарованы: и по платью, и по наружности он выглядел образованным человеком, литератором. Де-Пуле говорит, что некоторые из знакомых, не шутя, находили в Никитине какое-то сходство с Шиллером... Вращаясь среди образованных людей, Никитин не мог не сознавать бедности своего образования, и, чтобы пополнить этот недостаток, он начинает учиться вновь, много читает, занимается французским языком. На этом языке впоследствии он мог уже кое-как объясняться, а в письмах любил щеголять французскими фразами. Из всего этого можно видеть, как мало он соответствовал тому представлению о “поэте-дворнике”, “поэте-самородке”, которые некоторые составляли о

нем за глаза.

Благодаря популярности своего имени и друзьям Никитин в это время имел уже довольно обширный круг знакомых как в Воронеже, так и за городом. В частности, он был очень радушно принят в помещичьем семействе Плотниковых. Здесь, среди приволья природы, в обществе дам и молодых девушек, которых интересовал этот нелюдимый и грубоватый, но оригинальный “поэт-дворник”, Никитин оживал душой. Чувства молодости, уже протекшей, воскресали в нем в мирной обстановке этого дома, в кругу дружески принявшей его семьи, где он находил “минутное счастье под кровлей чужой”, как он говорит в одном из стихотворений, относящихся к его пребыванию в доме Плотниковых. Здесь у Никитина, кажется, были первые встречи с женщинами – до сих пор он совершенно не знал женского общества, – от которых в его душе остались мимолетные, но светлые воспоминания; на это указывают некоторые его стихотворения (“Чуть сошлись мы, друг друга узнали...”, “День и ночь с тобою жду встречи...”). Но вообще счастье любви никогда не согрело “одинокую и бесприютную” жизнь Никитина. Кажется, самые мечты и возможность этого счастья обращались для него в источник страданий. Мы не знаем, к кому относится одно стихотворение, написанное в лучшую пору жизни Никитина, в пору успеха и надежд; в нем поэт с суровой беспощадностью отрекается от счастья с любимой женщиной, рисуя ей мрачную перспективу собственной жизни, которую ей пришлось бы разделить с ним. “Не повторяй холодной укоризны”, – говорит он:

Не суждено тебе меня любить...
Беспечный мир твоей невинной жизни
Я не хочу безжалостно сгубить.
Тебе ль, с младенчества не знавшей огорчений,
Со мною об руку идти одним путем,
Глядеть на зло, на грязь и гаснуть за трудом,
И плакать, может быть, под бременем лишений,
Страдать не день, не два – всю жизнь свою страдать!

Так уж сложилась эта суровая жизнь, что в ней не было места для радостей. Одной из причин того мрачного настроения, которое преобладало в Никитине, была серьезная хроническая болезнь, которую он начал страдать с тех пор, как, хвалясь своей силой, поднял какую-то тяжесть, причем у него как будто порвалось что-то внутри. Уже в то время, когда Никитин сделался известным поэтом, эта болезнь медленно подтачивала его сильный по природе организм, по временам причиняя

невыносимые страдания. Этим многое объясняется в его характере, этим объясняется и тон его произведений, ноющий, болезненный, мрачный.

Во всяком случае эти четыре года (1853–1857) были лучшей порой в жизни Никитина. Физические силы еще не были окончательно убиты болезнью, бодрость духа поддерживалась сознанием своего успеха и дружескими симпатиями таких людей, как Второв и члены его кружка. За это время талант Никитина уже совершенно определился и окреп. Если первые его стихотворения, доставившие ему известность (“Русь”, “Война за веру” и пр.), ничего не представляли нового и оригинального, но были только более или менее удачными вариациями на темы наших известных поэтов, то теперь Никитин переходит в ту область, которая ему была так близка и знакома и где он нашел еще непочатый источник для вдохновения; эта область – жизнь простого народа и низших городских классов, которую Никитин знал с детства. По всей вероятности, эта сфера была указана Никитину его друзьями, которые вообще руководили его развитием. В то время когда затихли громы Крымской войны и в воздухе уже носились веяния новых реформ императора Александра II, слова “народность”, “народ” приобрели особое значение и сосредоточивали на себе общий интерес. Неудивительно поэтому, что второвский кружок, так живо принимавший к сердцу общественные интересы, указывал Никитину на почти неизвестную тогда область народной жизни, в которой могло выразиться его истинное дарование. В этот период (1853–1857 годы) Никитиным были написаны его лучшие произведения, например *“Утро”*, *“Жена ямщика”*, *“Бурлак”*, *“Рассыпались звезды”*. В них, кроме прекрасных картин природы, описания народной жизни сделаны с такой правдивостью и проникнуты таким глубоким и искренним чувством сострадания к ее невзгодам, что производят сильное впечатление и свидетельствуют о недюжинном таланте Никитина. В это же время им было начато и обдумывалось самое большое и серьезное произведение, поэма *“Кулак”*.

В 1856 году графом Д. Н. Толстым и А. А. Половцовым было выпущено в Петербурге первое издание стихотворений Никитина. Это издание, в которое вошли только стихотворения, написанные до 1854 года, вызвало в печати разнообразные отзывы. В “Русском вестнике” проф. Кудрявцевым была сделана неблагоприятная рецензия, опечалившая Никитина, но еще больше огорчений доставили ему похвалы его книжке Ф. Булгарина в “Северной почте”, в которых заключались ехидные намеки насчет “исправлений”, сделанных в его произведениях графом Толстым.

Все это, как водится, волновало и тревожило автора. Но за эти тревобления Никитин был щедро вознагражден вниманием к нему высочайших особ, которым граф Д. Н. Толстой поднес экземпляр его стихотворений. Обе императрицы, царствующая и вдовствующая, и покойный цесаревич Николай Александрович удостоили Никитина драгоценными подарками, которые он принял с восторгом. Это еще больше возвысило его в глазах местного общества. Что касается родных Никитина, то они, видя такой внезапный переворот в его судьбе, пришли в смущение: они боялись, что его как диковинку “возьмут” в Петербург!

Все лето 1855 года Никитин проболел. Простудившись во время купанья, он получил горячку, за которой последовал скорбут. Часть этого лета он провел в имении бывшего директора воронежской гимназии П. И. Севостьянова, который любезно пригласил его к себе в надежде, что деревенский воздух лучше всего поможет его выздоровлению. Состояние Никитина в это время было очень тяжелое; болезнь довела его до того, что он не мог ходить и должен был постоянно оставаться в постели. “Тоска страшная... – пишет он Де-Пуле. – Быть может, эта тоска – ребячество, я не спорю; но выше моих сил бороться с нею, не видя надежды к лучшему. Впереди представляется мне картина: вижу самого себя медленно умирающего, с отгнившими членами, покрытого язвами, потому что такова моя болезнь”. Впрочем, к осени здоровье Никитина поправилось, и он мог войти в обычную колею жизни. Хозяйничанье на постоялом дворе сменялось литературными занятиями и посещением кружка знакомых. Никитин в это время любил устраивать у себя вечеринки, которые охотно посещали его друзья. Здесь, в его единственной и бедной комнатке, за чаем, велись оживленные беседы, много шумели и спорили. Обыкновенно на этих собраниях присутствовали Савва Евтихиевич, которого Никитин обязательно представлял каждому новому гостю: “Рекомендую вам – мой батенька!”

В 1857 году Второв оставил Воронеж. Он перешел на службу в Петербург, где занял пост вице-директора департамента в министерстве внутренних дел. С его отъездом воронежский кружок, душою которого он был, распался. Да и вообще время кружков уже миновало. Они сослужили большую службу умственному развитию нашего общества в тридцатых и сороковых годах. В этих интимных кружках, в которых сосредоточивались лучшие умственные силы, подготавливались и вырабатывались новые литературные и общественные понятия, обсуждались такие вопросы, о которых нельзя было в то время свободно рассуждать в печати. Конечно, среди кружков были и такие, которые вполне характеризовались репетиловским восклицанием: “Шумим,

братец, шумим!” Но зато имена Станкевича, Белинского, Грановского, Аксаковых, Киреевских и многих других навсегда останутся памятными в истории нашего просвещения... Однако время теоретических рассуждений и отвлеченных вопросов проходило, наступала новая пора, явились “новые птицы и новые песни”. Реформы императора Александра Николаевича призывали общество к живой практической деятельности, печать получила больше свободы и право голоса в таких делах, о которых прежде не смели громко говорить, появились новые люди и новые веяния... В такое время в кружках, по выражению одного их участника, сделалось тесно.

В жизни Никитина воронежский кружок играет важную роль. Он помог ему выйти на “дорогу новой жизни”, оказал ему нравственную поддержку, которая была так необходима для забитого и приниженного нуждой поэта-дворника, смутно чувствовавшего другое призвание, наконец, руководил его умственным развитием. Может быть, эта опека иногда тяготила Никитина – в кружках никогда не бывает полной свободы и авторитет больше, чем где-нибудь, играет роль, – может быть, некоторые из его новых друзей навязывали ему такие взгляды, которые были ему чужды, но во всяком случае Никитин многим обязан влиянию второвского кружка. Интересно, между прочим, посмотреть, как отразилась эта умственная опека друзей на поэме “Кулак”, которую Никитин написал в это время (издана она была в конце 1857 года). Эта поэма существует в двух редакциях: первая, по-видимому, написана более самостоятельно, вторая носит следы поправок и перемен, сделанных по советам друзей. Главное различие обеих редакций – в изображении Саши, дочери кулака: во второй (измененной) редакции это симпатичный и трогательный образ девушки, которая любит бедного столяра, но по принуждению деспота-отца выходит замуж за богатого купца, чахнет и медленно умирает в разлуке с милым. Но в первоначальной редакции Саша – это одна из тех пошлых натур, для которых “заветные мечты” —

Сережки, зонтик или шаль,
Или салоп необходимый
С пушистым мехом из лисиц...

Она легко забывает бедного столяра ради богатого Тараканова и счастлива своим мещанским счастьем, которое делает ее такой же бездушной эгоисткой, как и ее муж. Ее не трогает несчастье отца, который, унижаясь, просит в трудную минуту помощи у зятя: если Саша и ходатайствует перед мужем

за отца, то только потому, что люди станут осуждать их, богатых, если они не окажут помощи бедному отцу. Нельзя не сознаться, что такой образ Саши ближе к жизненной правде, в сущности грубой и неутешительной, чем та идеализация героини, которой отдал предпочтение Никитин во второй редакции по советам друзей. Вопрос, что дороже: “тьма низких истин” или “нас возвышающий обман”, – по-видимому, в кружке Второва решался в пользу “возвышающего обмана”. Вообще вся эта поэма под влиянием кружка много раз подвергалась переделкам и изменениям, что наконец заставило Никитина воскликнуть в одном письме к Второву: “Покуда мне сомневаться и в “Кулаке”, и в самом себе!”

Разлука с Второвым была очень тяжела для Никитина, который платил глубокой привязанностью этому благородному человеку, игравшему роль доброго гения в его судьбе.

“Я не могу, – пишет он Второву, – начать моего письма к вам, как обыкновенно начинается большая часть писем: “Милостивый государь!”. Веет холодом от этого начала, и оно мне кажется странным после тех отношений, которые между нами существовали. Я готов вас назвать другом, братом, если позволите, но никак не “милостивым государем”... Признаться, я не могу похвалиться счастьем своих привязанностей: вы – третье лицо, которое я теряю, лицо для меня самое дорогое, потому что ни с кем другим я не был так откровенен, никого другого я так не любил. Силу этой привязанности я понял только теперь, сидя в четырех стенах, не зная, куда и выйти, хотя многие меня приглашают... Прохожу мимо вашей квартиры – она пуста. Не видно знакомых мне белых занавесок; вечером не горит огня в кабинете, где так часто я думал, читал, беседовал – словом, благодаря вашему дружескому, разумному вниманию находил средства забывать все дразги моей домашней жизни. Как же мне не любить вас, как мне о вас не думать!”

Кроме Второва в это время в Воронеже не было ни Нордштейна, ни Придорогина, лучших знакомых и друзей Никитина. Из поддерживавших близкие отношения с Никитиным оставался М. Ф. Де-Пуле, преподаватель воронежского корпуса, так же дружески расположенный к нему, как и Второв. Присоединились еще два новых лица: Н. П. Курбатов и Н. С. Милашевич, один из героев Крымской войны. Таким образом, составилось маленькое общество, собиравшееся у Де-Пуле. Но прежнего оживления и единства уже не было в этом маленьком кружке, притом же Второва едва ли кто-нибудь мог заменить для Никитина. В его состоянии с этих пор происходит довольно резкая перемена. Он больше уходит в себя, погружается опять в

дрязги дворнической жизни, которая его волнует, раздражает и вместе с дикими сценами разгула отца доводит иногда до отчаяния. К тому же давнишняя болезнь все глубже и глубже подтачивала здоровье Никитина.

Вот что пишет он Второву в июле 1858 года: “Здоровье мое плохо. Доктор запретил мне на время работать головой. Вот уже с месяц ничего не делаю и пью исландский мох. Скука невыносимая!” А через два месяца: “Я все болен, и болен более прежнего. Мне иногда приходит на мысль: не отправиться ли весною на воды, испытать последнее средство к восстановлению моего здоровья? Но вопрос: доеду ли я до места? Болезнь отнимает у меня всякую надежду на будущее...”

Но более даже, чем болезнь, доставляла мучений Никитину его семейная жизнь. Это видно, например, из следующего отрывка его письма: “Читаю много, но ничего не делаю, и, право, не от лени. Несколько дней тому назад я заглянул домой (Никитин в это время жил за городом. – *Авт.*); там кутеж! Сказал было старику, чтобы он поберег свое и мое здоровье, поберег бы деньги, – вышла сцена, да еще какая! Я убежал к Придорогину и плакал навзрыд... Вот вам и поэзия!” Неудивительно, что при таких располагающих к унынию обстоятельствах, лишившись поддержки такого друга, каким был для Никитина Второв, он по временам доходит до самого мрачного пессимизма. На него нападает сомнение даже в собственном таланте, который был уже признан и оценен.

“Нет, – пишет он Второву, – придется, верно, отказаться от мира искусства, в котором когда-то мне жилось так легко, хотя этот мир и был ложный, созданный моим воображением, хотя чувства, из него выносимые, были большей частью “пленной мысли раздраженье”. Придется, видно, по словам Пушкина:

Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть.

Грустная будущность! Но что же делать? Видно, я ошибся в выбранной мною дороге. Искра дарования, способная блеснуть впотьмах и чуждая силы греть и освещать предметы, не разгорится пожаром, потому что она жалкая искра. А светящимся червяком я быть не хочу...” Далее Никитин объясняет причины такого уныния. Это – семейная неурядица, от которой он нигде не находит спасения. “Иглы, ежедневно входящие в мое тело, искажают мой характер, делают меня раздражительным, доводят иногда до желчной злости, за которую немедленно следуют раскаяние и слезы, увы! – слезы тоски и горя, жалкие, бессильные

слезы!”

Сомневаться в себе, в своих силах приходится каждому, кто только “жил и мыслил”, чего-нибудь добивался и о чем-нибудь мечтал; но в приведенных нами строках Никитина звучит уныние человека больного, с разбитою жизнью, – уныние, которое, так сказать, заложено уже в самой натуре. Гнет прошлого был так силен, что даже в лучшие моменты жизни Никитин был неспособен освободиться от него вполне. За минутами воодушевления, за вспышками радости наступали упадок духа, недовольство и холод. Это настроение отражается и на произведениях Никитина; в них почти нет того жизнерадостного чувства, которое свидетельствует о молодости, счастье, о наслаждении жизнью; зато какой глубокой, надрывающей душу тоской проникнуто большинство его стихотворений! Сам переворот, совершившийся в жизни Никитина со времени его выступления на литературное поприще, заключал для него немало горечи: в одно и то же время он был и литератором, сделавшимся известным далеко за пределами родного города, принятым и обласканным лучшей частью воронежского общества, которая смотрела на него как на равного, – и мещанином-дворником, обязанным для поддержания своего и отцовского существования погружаться в дразги постоянного двора, всегда чувствовавшим, что он – плоть от плоти того темного, серенького люда, с которым постоянно ему приходилось иметь здесь дело. Эта обратная сторона медали часто напоминала о себе Никитину – и между прочим по поводу следующей истории, довольно интересной для характеристики тогдашних провинциальных нравов. Как известно, в конце пятидесятых годов нашей печатью овладела страсть к обличению разных темных сторон русской жизни, грешков администрации и пр. Сатиры Щедрина пользовались большой популярностью, в газетах постоянно появлялись обличительные корреспонденции. Такие известия производили в обществе сенсацию и попадали иногда не в бровь, а в глаз. И вот по поводу одной такой корреспонденции, в которой было задето одно значительное лицо, распространились слухи, что автор ее – Никитин, “тот, который пишет стихи”. Над Никитиным готова уже была разразиться гроза, ему как мещанину угрожало позорное наказание; пришлось объясняться, оправдываться, хлопотать; но к счастью, настоящие авторы этой корреспонденции скоро были обнаружены (оказалось, что они принадлежали к чиновному миру), и все обошлось благополучно. Во всяком случае, эта неприятная история сильно потрясла Никитина и показала ему, что писательская известность имеет и свои шипы.

В 1858 году вышло лучшее и самое задушевное произведение Никитина, поэма “Кулак”. С замечательным реализмом и глубокой скорбью за человека здесь описана тяжелая и унижительная жизнь “кулака” – мелкого торговца, всеми правдами и неправдами промышляющего тем, что только попадет под руку. Эта жизнь была близка самому Никитину, а в образе главного героя этой поэмы, Лукича, есть, несомненно, многие черты его отца. То, не знающее никакого удержу самодурство, с каким Лукич распоряжается в своей семье, конечно, приходилось Никитину испытывать на себе, и, конечно, ему самому приходилось наблюдать так правдиво описанные в поэме сцены семейных скандалов, устраиваемых пьяным деспотом-главой. “Кулак” оканчивается следующими многозначительными стихами:

Прощай, Лукич!
Не раз с тобою,
Когда мой дом объят был сном,
Сидел я грустный за столом,
Под гнетом дум, ночной порою.
И мне по твоему пути
Пришлось бы, может быть, идти,
Но я избрал иную долю...

Эта поэма, может быть, больше всего, что раньше было написано Никитиным, обратила на него внимание критики. Наиболее лестный отзыв о ней был сделан Я. К. Гротом в заседании Академии наук. Кроме художественных достоинств поэмы, выразившихся в прекрасных описаниях природы и изображении характеров действующих лиц: Лукича, его жены и дочери Саши, – Я. К. Грот указал на нравственную идею, которую проникнуто все произведение: испорченность натуры человека зависит от несчастных обстоятельств, в которые он был поставлен судьбою. Но и в самом падении человек не теряет некоторых проблесков добра, которые вызывают сочувствие к его несчастью. Таким сочувствием проникнута вся поэма Никитина. Некоторые критики, впрочем, упрекали автора за идеализацию такой личности, как Лукич; но, во всяком случае, “Кулак” имел большой успех (вся поэма разошлась в продолжение одного года) и окончательно утвердил за Никитиным прочное место в нашей литературе.

Вместе с этим заканчивается первый период литературной деятельности Никитина, начавшийся при таких благоприятных для него обстоятельствах. Эти четыре года (1853–1857) были

годами его духовного возрождения и усиленной литературной деятельности, которая вознаградила его за то жалкое и темное существование, которое он вел до тех пор.

ГЛАВА III. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Заботы об устройстве положения. – Открытие книжного магазина. – Никитин-книгопродавец. – Борьба с друзьями за книжный магазин. – Смерть Придорогина. – Популярность книжного магазина Никитина в Воронеже. – Упадок литературной деятельности Никитина. – Второе издание сочинений. – Поездка в Москву и Петербург

Несмотря на известность и популярность, которых Никитин достиг как поэт, его положение было все-таки тягостным; по профессии он по-прежнему оставался дворником и обязан был ежедневно погружаться в бездну мелочных и грязных забот, доставлявших ему постоянные огорчения. Кружок образованных людей, принадлежавших к лучшему воронежскому обществу, принял его как равного, а между тем грубая проза жизни всегда напоминала поэту-дворнику пословицу о том, что всякий сверчок должен знать свой шесток. Необходимо было устроить как-нибудь иначе свое положение. В 1858 году, после издания “Кулака”, у Никитина образовался маленький капитал тысяч около двух. С такими деньгами уже можно было подумать о том, чтобы взяться за какое-либо предприятие, которое дало бы возможность бросить, наконец, дворническую жизнь. Никитин остановился на мысли открыть собственный книжный магазин. Этот план одобрили и друзья Никитина Де-Пуле, Милашевич и Курбатов, которые также принимали участие в совете. Но так как бывших в наличии денег для этого было недостаточно, то пришлось прибегнуть к займу. По совету тех же лиц и после долгих колебаний Никитин решил наконец через посредство Второва обратиться к известному В. А. Кокореву, который хотя не знал Никитина лично, но был хорошо знаком с Второвым и не раз уже выказывал теплое участие к судьбе поэта-дворника. Таким образом, весь этот план был представлен на окончательное решение Второва и Придорогина, бывших тогда в Петербурге. Кажется, оба они мало сочувствовали такому проекту и, как увидим дальше, имели для этого свои основания; но, во всяком случае, просьба Никитина была исполнена и все устроилось так, как только он мог желать. Второв писал Никитину, что Кокорев охотно дает ему три тысячи, а чтобы этот долг не тяготил его, предлагает издать полное собрание его сочинений и вырученными деньгами покрыть долг. Никитин был в восторге от такого благоприятного оборота дел.

“Ура, мои друзья! – пишет он Второву после получения его письма. – Прощай, постоянный двор! Прощайте, пьяные песни

извозчиков! Прощайте, толки об овсе и сене! И ты, старушка Маланья, будившая меня до рассвета вопросом: вот в таком-то или таком горшке варить горох, потому что на двор приехало вот столько-то извозчиков? – прощай, моя милая! Довольно вы все унесли у меня здоровья и испортили крови! Ура, мои друзья! Я плачу от радости...”

В таком же восторженном тоне Никитин благодарит и Кокорева, выказавшего такое дружеское участие к нему:

“Помощь, которую вы мне оказываете, не простое участие, не мимолетное сострадание к тяжелому положению другого лица, нет! Это в высшей степени живительная сила, которая обновляет все мое существование. До тех пор я был страдательным нулем в среде моих граждан, теперь вы выводите меня на дорогу, где мне представляется возможность честной и полезной деятельности, вы поднимаете меня как гражданина и как человека”.

Несмотря на нервический пафос этих писем, здесь видна искренняя радость человека, долго находившегося в тисках нужды, измученного, изболевшегося, которому наконец дали возможность вздохнуть свободней. Заговорило естественное желание составить себе некоторое общественное положение, стать наравне с теми купцами, от которых прежде приходилось переносить немало унижений. Проснулся, может быть, и врожденный торгашеский инстинкт, чего в особенности боялись его идеалисты-друзья вроде Придорогина, хотя Никитин выставлял перед ними совсем другие цели: в своем книжном магазине он видел чуть ли не дело общественного служения!

На первых порах устройство книжного магазина доставило много хлопот Никитину: нужно было найти помещение, составить каталоги, выписать книги и письменные принадлежности, и прочее, и прочее. Здоровье Никитина в это время было очень плохо, и вся эта масса мелких забот его очень волновала и тревожила. Наконец все было устроено, книги куплены в Петербурге Курбатовым, который сделался компаньоном Никитина по магазину; в начале 1859 года магазин был открыт и тотчас же привлек к себе многочисленную публику: всем интересно было взглянуть на его хозяина, которого знали уже как поэта. Впрочем, людей, которые в своем наивном воображении ожидали найти в Никитине существо необыкновенное, отмеченное особой печатью, у которого:

Всегда восторженная речь
И кудри черные до плеч, —

постигло разочарование: перед публикой стояло “существо

сухое, как скелет, существо весьма нелюбезное, раздражительное, с резкими и отчасти грубыми манерами” – словом, весьма прозаическое.

Сделавшись хозяином магазина, Никитин с увлечением, доходившим до страсти, предался торговле. Теперь он чувствовал себя в своей настоящей сфере. “Только теперь, – говорил он, – идя по улице, я смело смотрю всем в глаза, потому что знаю, что делаю дело. А прежде что? Кто же у нас стихи считает делом!” На магазин уходило все – и здоровье, и деньги. Он отказывал себе даже в самом необходимом комфорте, которого требовало его здоровье, чтобы не тратить деньги “на глупости”, как он выражался. Такое отношение к делу сильно озабочивало друзей Никитина, боявшихся, чтобы торговля не убила в нем поэта. Больше всех, конечно, волновался за него Придорогин, который к этому времени прибыл в Воронеж. Уже сама мысль Никитина заняться торговлей нашла в нем энергичного противника. Придорогин был убежден, что “не могут ужиться в одном человеке торгаш и поэт: одно что-нибудь непременно убьет другое...” Легко представить, как волновался он теперь, видя на деле, что “его Савка”, как он называл Никитина, обнаруживает такие торгашеские наклонности. “Стоило только Никитину, – рассказывает Де-Пуле, – продать какую-нибудь пачку конвертов или десять почтовой бумаги по цене большей на 10–20 %, допускаемых для честного торговца, как или делалась сцена, следовал упрек “в отступлении от начал, раз принятых”, или Придорогин летел ко мне и печально провозглашал: “Пропал наш Савка, окончательно пропал! Торгаш и кулак стал совершенный! Оттого и “Кулака” хорошо написал, что в самом-то в нем сидел кулак. Нет, этого нельзя допустить!” Этим, впрочем, дело не ограничивалось. К Второву писались письма за письмами с горячими просьбами употребить свое влияние на Никитина и убедить его бросить торговлю, которую тот только что начал.

В опасениях идеалиста-Придорогина была большая доля правды. Прежде всего, здоровье Никитина в это время было крайне плохо: почти весь 1859 год он проболел и дошел до такого истощения, что через силу мог ходить. Постоянные заботы по торговле еще больше расстраивали его. Вместе с тем выступили наружу худшие стороны натуры Никитина. В нем развернулся мелочный и беспокойный дух спекуляции. Он отстал от всех и всего, сделался желчен и раздражителен, с утра до ночи проводил в своем магазине, весь погруженный в коммерческие счета, почти ничего не писал и не читал. Было от чего приходиться в ужас Придорогину! Даже Де-Пуле, склонный во всем оправдывать Никитина, сознается, что в это время он был “не хорош и не

симпатичен”. Упреки близких людей, их сожаления о постигшей его перемене мучили Никитина. Особенно тяжело ему было слышать их от Второва, мнением которого он так дорожил. В своих письмах Никитин с горечью защищает себя от обвинений, которые за глаза высказывал в его адрес Второв:

“Вы ставите меня в разряд торгашей, которые ради приобретения лишнего рубля не задумаются пожертвовать своею совестью и честью. Неужели, мой друг, я упал так низко в ваших глазах? Неужели я так скоро сделался негодяем из порядочного человека? Если бы во мне не было признаков порядочности, я уверен, вы не сошлись бы со мной так близко... Грустное превращение! Вот к чему меня привело открытие книжного магазина! Итак, мои слова: пора мне удалиться и отдохнуть от сцен, обливающих мое сердце кровью, – были ложью; мое желание принести некоторую долю пользы на избранном мною поприще – было ложью; моя любовь к труду безукоризненному и благородному – была ложью... Неужели, мой друг, все это справедливо?”

Встревоженный известиями Придорогина о плохом состоянии здоровья Никитина, Второв советовал ему, продав магазин, купить хуторок и жить в деревенской тиши. Никитин отвечает, что для исполнения этого проекта нужно иметь больше денег, чем он мог бы выручить от продажи своего магазина, и что хозяйничанье в деревне напомнило бы ему ту неприятную возню на постоялом дворе, от которой он нашел спасение в своем магазине. Самый серьезный упрек, который делался Никитину, был тот, что он совершенно оставил писательство. “Что касается моего молчания, – отвечает он, – моего бездействия, которое, по вашим словам, губит мое дарование (если оно, впрочем, есть), вот мой ответ: я похож на скелет, обтянутый кожей, а вы хотите, чтобы я писал стихи! Могу ли я вдуматься в предмет и овладеть им, когда меня утомляет двухчасовое серьезное чтение? Нет, мой друг, сперва надобно освободиться от болезни, до того продолжительной и упорной, что иногда жизнь становится немилою, и тогда уже браться за стихи. Писать их, конечно, легко; печатать – благодаря множеству новых журналов – еще легче; но вот что скверно, если после придется краснеть за строки, под которыми увидишь свое имя”.

Таким образом, Никитину удалось отстоять свое детище – книжный магазин. Главным противником его в этой борьбе, как мы видели, был Придорогин. Несомненно, что намерения, заставлявшие его так горячо ратовать против магазина, были

самые хорошие: он боялся, что в тине торговли погибнет дарование Никитина, которым он так восхищался, что его друг, его “милый Савка” обратится в прозаического кулака. И здесь, как и в других случаях, Придорогин обнаружил себя розовым идеалистом, неспособным мириться с грубой прозой жизни, к которой так близок был Никитин и по своему происхождению, и по положению. Это были две крайности, которые, однако, сблизил искренняя дружеская связь. После Второва из всех членов воронежского кружка наибольшее влияние на Никитина имел Придорогин. Такие люди, как он, сами обыкновенно непрактичные, с трудом пристраивающиеся к какому-либо делу, вносили в жизнь других людей чувство и инициативу, заставляли вспомнить о том, что выше действительности, – об идеалах. Теперь это уже исчезнувший тип доброго старого времени, произведение литературных и философских идей сороковых годов. Придорогин внезапно умер осенью 1859 года. Эта смерть была тяжелой утратой для Никитина. “Теперь в Воронеже меньше одним из самых лучших людей, – пишет он Второву. – Я хорошо знал моего друга, знал его горячую любовь к добру, любовь ко всему прекрасному и высокому, его ненависть ко всякой пошлости и произволу и – что же? Какой плод принесло ему все это в жизни? увы! Жизнь ничем его не вознаградила, ничего не дала ему, кроме печали, – и страдалец умер с полным сознанием, что сам он не знал, зачем жил”.

Горькое сознание бессцельности жизни действительно мучило Придорогина; оно запечатлено им в следующей стихотворной характеристике, сделанной незадолго до смерти:

Вся жизнь моя прошла бесплодно;
Я целый век не жил – мечтал.
Я не трудился, но других свободно
За лень и праздность укорял.
Я иногда брался за дело,
Казалось, я любил его;
За все я принимался смело
И не кончал я ничего...

Многих огорчений, как мы уже видели, стоило Никитину открытие книжного магазина. Скоро, однако, дела его пошли так хорошо, что Никитин мог радоваться успеху своего предприятия, хотя по привычке всех торговцев и жаловался постоянно на плохие обстоятельства. Магазин сделался популярным среди воронежской публики. Сюда заходили не только за делом, чтобы купить что-нибудь, но и просто для того, чтобы потолковать с

хозяином о разных разностях: о литературных новостях, о вопросах дня и пр. Нужно вспомнить, что это было время особенного оживления общественной жизни, вызванного подготовлявшимися тогда реформами императора Александра II. Новые общественные вопросы, поставленные этими реформами, были всеобщей злобой дня; о них везде говорили, спорили; они вызывали восторг или опасение. Магазин Никитина сделался своего рода литературным клубом, куда собирались самые разнородные элементы общества, от низших до высших. Навещал его, между прочим, и новый воронежский губернатор, граф Д. Н. Толстой, как известно, давнишний знакомый Никитина и первый издатель его сочинений. Никитин был доволен, видя такое общее внимание к себе, в то же время был не внакладе и как купец, получая значительную выручку от продажи. Стоя за прилавком своего магазина, он мог с чувством самодовольства думать о себе так, как однажды написал в письме к Второву: “Вот ты был дворник, жил в грязи, слушал брань извозчиков; теперь ты хозяин порядочного магазина, всегда в кругу порядочных людей...” Весь доход с постоялого двора теперь получал отец Никитина, который, нужно заметить, кстати, хотя и называл теперь сына “первостатейным купцом”, но, подгуляв, по-прежнему набрасывался на него с упреками: “Через кого пошел ты в люди и стал хозяином?” Новая жизнь, постоянное погружение в меркантильные интересы магазина, торговля, к которой Никитин относился с таким увлечением, само собой разумеется, не благоприятствовали литературной производительности. Действительно, 1859 год – год открытия магазина – был самым бедным в литературной деятельности Никитина. Правда, причиной этого могло быть и его крайне болезненное состояние в этом году. Биограф Никитина и его восторженный (но не всегда беспристрастный) почитатель, М. Ф. Де-Пуле, говорит об “изумительном росте” духовных и литературных сил поэта в последние три года его жизни. Но этот рост ни в чем, однако, не выразился. Напротив, можно сказать, что издание “Кулака” в конце 1857 года было кульминационным пунктом в развитии таланта Никитина. Дальше начинается если не упадок, то, по крайней мере, ослабление литературной деятельности. Понять это довольно легко. В первые годы после вступления на литературное поприще Никитин находился под влиянием кружка, способствовавшего развитию его умственных интересов, не дававшего заглухнуть лучшим, благородным и высоким стремлениям, которые проза и грязь окружавшей его жизни всегда готовы были поглотить. Мы видели, как ревниво оберегали эти задатки в Никитине Второв и Придорогин в момент открытия

книжного магазина. Влияние кружка Второва на Никитина, даже умственная опека его, несомненно, были очень сильны и благотворны. Те дружеские, чуждые мысли о неравенстве отношения, в которых находились с Никитиным Второв, Придорогин, Де-Пуле и др., нисколько не противоречат этому: авторитет их, помимо воли может быть, создавался сам собой, в силу неодинакового умственного развития и, наконец, самого общественного положения этих лиц и поэта-дворника. Говорить поэтому о полной умственной самостоятельности Никитина, обладавшего поначалу ничтожным образованием (два класса семинарии) и знанием жизни, почерпнутым на постоялом дворе, невозможно. Вот почему четыре года, проведенные Никитиным среди кружка, были лучшими годами в его поэтической деятельности. Под влиянием первых успехов и при заботливой поддержке просвещенных друзей в Никитине укрепились сознание своего дарования, и теперь, не гонясь за лаврами других поэтов, которым он вначале стал подражать, он берет темы для своих стихотворений из той сферы, которая ему близка и хорошо знакома. Но прошли эти годы, и воронежский кружок распался. Людей, оказывавших столь положительное влияние на жизнь Никитина, не стало: одних не было в живых, другие были далеко. В жизни поэта-мещанина произошел новый переворот: он сделался более самостоятельным, достиг материального довольства, стал “первостатейным купцом”, но... предсказание Придорогина: “Не могут ужиться в одном человеке торгаш и поэт – одно что-нибудь непременно убьет другое”, – в значительной мере исполнилось: торгаш начал брать перевес над поэтом. Умственная энергия тратилась на коммерческие расчеты, сила и свежесть чувства подавлялись мелочными и прозаическими заботами о барыше. Прежний Никитин, воспитанник Белинского, смотрел с пренебрежением на “грязь действительности”, от которой он тщательно оберегал свой поэтический дар, не дававший ему покоя на грязном постоялом дворе, среди извозчиков. Никитин-купец уже свысока смотрит на свою литературную деятельность, которую прежде он считал таким высоким призванием. В это время он занимался пересмотром своих произведений для второго издания, предпринятого Кокоревым под редакцией Второва. “Признаюсь вам, – пишет он Второву, – я почти ничем не доволен: что ни прочитаю – все кажется риторикой. Грустно! Видит Бог, многое писалось от души”. На совет Второва выставлять года под стихотворениями, чтобы можно было следить за развитием таланта, Никитин скептически восклицает: “Боже сохрани! Где оно, это развитие? Все суета сует! Если я в самом деле подвинулся сколько-нибудь

вперед, заметят и без цифр”.

К лету 1860 года здоровье Никитина поправилось, и он решился наконец совершить давно задуманную поездку в Москву и Петербург. Целью поездки было завести сношения со столичными книгопродавцами; хотелось, кроме того, увидеть Второва, который давно уже звал Никитина в надежде, что это путешествие освежит его и разбудит в нем новую умственную энергию. Второв хотел познакомить Никитина с петербургскими литераторами. Путешествие хорошо подействовало на Никитина, всю жизнь почти безвыездно прожившего в Воронеже. Это происходило в то “доброе старое время”, когда железных дорог с их чудодейственной силой переносить человека в продолжение нескольких часов за сотни верст еще почти не было и существовал единственный способ передвижения – на перекладных. Однако литературных знакомств, как предполагал Второв, никаких не состоялось. И путевые письма к Де-Пуле, в которых Никитин подробно рассказывает, сколько и где с него взяли “на водку” ямщики, сколько он заплатил за перетяжку колес (“3 р. 90 к., в Воронеже они стоили бы не более 75 к.!”), и жизнь его в Петербурге и в Москве, где Никитин больше всего был занят своими делами по книжной торговле, – выдают человека, всецело погруженного в заботы о рубле. Когда по возвращении Никитина в Воронеж знакомые спрашивали его, познакомился ли он со столичными литераторами, Никитин отвечал: “С какими литераторами? Что мне в них и что им во мне?”

К пребыванию Никитина в Петербурге относится и прилагаемый при этой биографии его портрет. Трудно найти более суровое выражение, чем выражение этих больших, пронизательных глаз на исхудалом, болезненном лице. Кажется, будто тихие, ясные грезы никогда не посещали душу этого человека, так сосредоточенно погрузившегося в какую-то мрачную думу.

ГЛАВА IV. ГОД САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Душевный перелом в Никитине. – Его отношение к литературе и вопросам современности. – Стихотворения “Поэту-обличителю” и “Разговоры”. – Интеллигент-самоучка. – Последняя вспышка литературной деятельности. – “Дневник семинариста”. – Роман в письмах

В 1860 году Никитину было уже 35 лет. Можно сказать, что только к этому времени его жизненное положение вполне определилось и он сделался человеком самостоятельным. Та пора, когда человек колеблется в выборе пути, не зная, к какому берегу он в конце концов причалит, уже прошла. Начался период устойчивости и душевного равновесия, который, впрочем, для Никитина оказался слишком коротким: осенью следующего года его уже не стало.

Мы говорили уже, что вместе с самостоятельностью, которой достиг Никитин, сделавшись владельцем книжного магазина, начинается упадок его литературной деятельности. В понятиях и вкусах поэта-мещанина совершается заметный переворот. В то время, когда Никитин на постоялом дворе “слагал свой скромный стих, просившийся из сердца”, робко мечтая о писательстве, оно представлялось ему таким высоким призванием, которому он считал за великое счастье посвятить себя. И вот уже из приведенных выше отрывков его писем к Второву мы видим, с каким скептицизмом он относится теперь к этому высокому “призванию”. Прежний восторженный поклонник Белинского теперь с каким-то брюзгливым пренебрежением отворачивается от литературы, видит в ней только “пустоту и фальшь”. Особенно пугало Никитина, кажется, то отрицательное направление, которое преобладало в нашей литературе в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов. Он не понял, насколько глубокие корни это направление имело в самой жизни и как естественно оно было в то время, и, что называется, махнул на него рукой. Журналов тогдашних, рассказывает Де-Пуле, Никитин терпеть не мог. “Все ложь и мерзость!” – говорил он. Трудно объяснить это идеализмом, тем, что “разбивались кумиры, утрачивалась вера в силу и значение литературы”, – для этого нет никакого основания. Правда, идеализм, который витает над действительностью и потому никогда не имеет под собой твердой почвы, отличается способностью “сжигать то, чему поклонялся”, переходить из одной крайности в другую. Но в Никитине,

несмотря на его воспитание в духе отвлеченных теорий сороковых годов, было слишком много природной умственной трезвости и практичности, чтобы объяснять такой переворот идеализмом.

Если бы идеалист Белинский дожил до шестидесятых годов, он, наверное, многому порадовался бы из того, что совершалось тогда в нашей литературе и жизни. Очевидно, что причина такой перемены во взглядах Никитина была другая. Проза жизни взяла верх над всем остальным; случилось то, что предвидел и сам Никитин, когда в одном письме к Второву высказывал опасение, что ему придется “ожесточиться и очерстветь”. Та суровая жизненная школа, которую прошел поэт-мещанин, выработала из него тяжкодума, сурово и прозаически смотрящего на жизнь, с недоверием относящегося ко всяким смелым надеждам и высоким порывам, ко всему, что не приносит осязательной практической пользы. Мещанин, даже отчасти кулак, “торговый человек” в конце концов все-таки сказался в Никитине.

Ярче всего этот переворот в Никитине выразился в следующем факте. Весной 1860 года в Воронеже был устроен литературный вечер в пользу литературного фонда. Никитин выступил здесь со стихотворением “Поэту-обличителю”, которое начинается так:

Обличитель чужого разврата,
Проповедник святой чистоты,
Ты, что камень на падшего брата
Поднимаешь, – сойди с высоты!

Все это стихотворение было направлено против Некрасова, которому так горячо сочувствовал раньше Никитин (“Некрасов у меня есть, не утерпел, добыл. Да уж как же я его люблю!” – писал он в 1857 году). Неприличие и грубость этой выходки заключаются в том, что поэт нападает не на литературную деятельность Некрасова, а на его личность и частную жизнь, которую Никитин громит, основываясь на каких-то слухах, дошедших до него, как объясняет Де-Пуле.

Твоя жизнь, как и наша, бесплодна,
Лицемерна, пуста и пошла...
Ты не понял печали народной,
Не оплакал ты горького зла.
Нищий духом и словом богатый,
Понаслышке о всем ты поешь
И бесстыдно похвал ждешь, как платы,

Любопытно для характеристики тогдашнего настроения умов, что это стихотворение было восторженно встречено публикой. Никитин по вызову должен был его повторить.

Столь же отрицательно относится Никитин и к другим сторонам тогдашней жизни. Как человек, сам вышедший из простого народа, он, конечно, не мог не сочувствовать освобождению крестьян и день 19 февраля встретил с восторгом. Но это, кажется, и все, чему он сочувствовал. К другим вопросам, выдвинутым жизнью, он относится с недоверием или прямо со злобой. Достаточно просмотреть только его произведения последних лет жизни, чтобы убедиться в этом. Симпатичными чертами у него рисуется только “наш бедный труженик-народ, несущий крест свой терпеливо”; все, что касается народа, Никитин близко принимает к сердцу. Во всем остальном он видит только “разврат души, разврат ума и лень, и мелочность, и тьму”. В стихотворении “Разговоры”, в свое время наделавшем много шума, Никитин с иронией говорит о порывах интеллигенции:

В нас душа горяча,
Наша воля крепка,
И печаль за других —
Глубока, глубока!..
А приходит пора
Добрый подвиг начать —
Так нам жаль с головы
Волосок потерять:
Тут раздумье и лень,
Тут нас робость возьмет;
А слова... на словах
Соколиный полет!..

В том же духе, только более резко, он пишет и Второву: “Тошно слушать эти заученные возгласы о гласности, добре, правде и прочих прелестях. Царь ты мой небесный! Исключите два-три человека, у остальных в перспективе карманные блага, хороший обед, вкусное вино etc. etc. А знаете, я прихожу к убеждению, что мы – преподленькие люди, едва ли способные на какой-либо серьезный, обдуманный, требующий терпения и самопожертвования труд. Право так!”

Исключить, как известно, пришлось не двух-трех, а многих благородных и честных деятелей, взявших на себя тяжелую

задачу проведения в жизнь великих реформ императора Александра Николаевича. Но для нас интересны эти отзывы Никитина, стихотворные и прозаические, как характеристика самой личности поэта-мещанина и его мировоззрения. В общественном движении конца пятидесятых и начала шестидесятых годов, конечно, было много незрелого, даже уродливого, – отрицательные типы того времени много раз выводились в нашей литературе; но видеть в нем только “разврат души, разврат ума” и не замечать, сколько в тогдашнем общественном энтузиазме было молодого, живого и хорошего, – значит демонстрировать только узость собственных взглядов. Не надо забывать, что при несомненном поэтическом даровании и наблюдательности Никитину не доставало правильного и широкого образования. Если подвести итог всему, что дала ему школа, то окажется, что, кроме кое-каких отрывочных сведений, которые он мог вынести из семинарии, да смутных идей о великом и благотворном влиянии науки и литературы, – ничего не дала. С таким небольшим умственным капиталом Никитин вступил на литературное поприще. Правда, с тех пор его развитие сделало большой шаг вперед: он много и серьезно читал, прислушивался к разговорам образованных людей, среди которых вращался; но это развитие происходило в слишком узкой сфере провинциальной жизни. В конце концов из него выработался интеллигентный самоучка, вышедший из простого народа и запертый в таком узком кругу мещанско-торгашеской жизни, в котором ему было душно и тесно; но выбиться из этого круга совершенно ему не пришлось.

Кроме поездки в Москву и Петербург, о которой мы уже говорили, 1860 год ничем особенным в жизни Никитина не ознаменовался. В этом году среди нескольких местных литераторов явилась мысль об издании литературного сборника под заглавием “Воронежская беседа”. Средства для этого были предоставлены одним из преподавателей корпуса, П. П. Гловым, а редакторство принял на себя М. Ф. Де-Пуле. Вокруг него образовался новый литературный кружок, который, кроме Никитина, составляли И. И. Зиновьев, А. С. Суворин и Н. Н. Чеботаревский. В Никитине снова ожил литератор, хотя это была последняя вспышка. Он с увлечением взялся написать для “Воронежской беседы” большую повесть из семинарской жизни. Впрочем, этот замысел не был исполнен – помешали торговые дела и болезнь, – и вместо повести Никитин должен был ограничиться очерками, которым он дал название “Дневник семинариста”. Эти очерки имеют большой автобиографический интерес. Они носят сильно субъективный характер, чему много

способствует сама дневниковая форма их. Никитин, очевидно, рассказывает здесь повесть собственной жизни, а многие сцены и лица, кажется, списаны прямо с натуры. “Дневник” ведется от лица семинариста Белозерского, который описывает свои впечатления. Белозерский – это хорошая, но пассивная и уже порядочно забитая воспитанием натура, уже в молодые годы прошедшая школу терпения. “Терпение и терпение! – пишет он. – Об этом говорят мне не только окружающие меня люди, но книги и тетрадки, которые я учу наизусть, и, кажется, самые стены, в которых я живу”. Зубристика не убила в нем, однако, способности рассуждать самостоятельно; он критически смотрит вокруг себя, на свою науку, профессоров и товарищей, порывается в университет, куда увлекает его друг, Яблочкин, но твердо идти к цели, бороться с препятствиями не способен. Белозерский без ропота подчиняется воле священника-отца, который требует, чтобы сын “пребывал в том звании, из которого вышел”. Некоторыми чертами все это напоминает историю самого автора “Дневника”, его порывы к другой жизни и, наконец, историю выхода из семинарии. Совершенно другой тип представляет друг Белозерского, Яблочкин. Это смелый и независимый ум, развившийся под влиянием литературы, в особенности под влиянием Белинского, которым зачитывались тогда семинаристы. Яблочкин не может примириться с семинарской схоластикой, хочет сознательно относиться ко всему, что ему приходится учить, и пользуется за это репутацией вредного вольнодумца. Заветная мысль Яблочкина – попасть в университет, куда он готов пойти хоть пешком; но добиться этой цели ему не пришлось: он умирает от чахотки. Что это тип не выдуманный, а живой, видно на примере Серебрянского. Да и сам Никитин, как мы уже знаем, представляет продукт литературы сороковых годов, влияние которой проникало даже за закрытые стены дореформенной семинарии. Но Яблочкин – единственный светлый образ в “Дневнике”; все остальное – и образование, и нравы семинарии – Никитин изображает в мрачном виде. О сухости и приемах семинарского образования мы уже говорили; дополним это характерной сценой экзамена из “Дневника семинариста”.

“Ученики выходили по вызову друг за другом. И вот один, малый, впрочем, неглупый (относительно), замялся и стал в тупик.

– Ну, что ж? Вот и дурак! Повтори, что прочитал.

– Хотя творчество фантазии как свободное преобразование представлений не стесняется необходимостью строго следовать закону истины, однако

ж, показуясь представлениями, взятыми из действительности, оно тем самым примыкает к миру действительному. Оно только расширяет действительность до правдоподобия и возможности...

– Что ты разумеешь под словом “показуясь”?

– Слово “проявляясь”.

– Ну, хорошо. Объясни, как это расширяется действительность до правдоподобия? Ученик молчал.

– Ну, что ж ты молчишь?

– Забыл.

Федор Федорович (профессор) двигал бровями, делал ему какие-то непонятные знаки рукой. Ничто не помогало. Не утерпел он – и слова два шепнул.

– Нет, что ж, подсказывать не надо.

– Вы напрасно затрудняетесь, – сказал ученику один из профессоров. – “Юрия Милославского” читали?

– Читал.

– Что ж там? Действительность или правдоподобие?

– Действительность.

– Почему вы так думаете?

– Это исторический роман.

– Нет, что ж, дурак! Положительный дурак, – сказал отец ректор и махнул рукой.

История в этом роде повторялась со многими. Едва доходило дело до объяснений и примеров, ученики становились в тупик”.

Это – наглядные результаты семинарской зубристики, которая забивала даже крепкие головы. Трудно было сохранить приятные воспоминания о школе, от которой веет только холодом и сухостью, и неудивительно, что в каждой строчке “Дневника” сквозит антипатия к ней автора.

Эта литературная работа и душевные волнения, вызванные нахлынувшими воспоминаниями, дорого обошлись ему: он захворал. Последнюю сцену “Дневника”, сцену смерти Яблочкина, Никитин прочел Де-Пуле в своем книжном магазине.

– Доконал меня проклятый семинарист, – воскликнул он, приступая к чтению.

С первых же слов смертная бледность покрыла его лицо; глаза загорелись сухим пламенем; красные пятна зарделись на щеках; голос дрожал, порывался и замер как-то страшно на словах:

О жизни покончен вопрос...

Больше не нужно ни песен, ни слез!

Этими стихами оканчивается “Дневник семинариста”.

Вопрос о жизни действительно уже был почти покончен для Никитина. Болезнь медленно, но упорно подтачивала его силы, хотя крепкий от природы организм все еще боролся с ней. К концу года здоровье его снова поправилось и Никитин чувствовал себя довольно бодро. Явились планы перевести магазин в новое и более удобное помещение, предполагалось опять сделать поездку в столицы. Но этим планам, однако, не суждено было исполниться.

Мы видели уже, как сложилась вообще бедная событиями жизнь Никитина. Одинокое детство в богатой мещанской семье с самодуром отцом во главе; школа, которая открыла юноше смутную, но увлекательную перспективу, пробудила мысль и желание найти себе дорогу к новой жизни, отличной от той, которой жили все, кто его окружал. Затем – семейный кризис и одновременно кризис всех лучших надежд молодого человека. Вместо университета пришлось очутиться на постоялом дворе, в обществе извозчиков, переносить унижения бедности и зависимости от пьяного отца, слышать его постоянные упреки: “А кто тебе дал образование и вывел в люди!” – в которых было столько злой иронии! Так прошли лучшие годы молодости. Трудно в такой атмосфере сохранить хоть какую-то искру таланта, не ожесточиться и не очерстветь душою. Но эта искра все-таки тлела, и судьба наконец сжалилась над бедным поэтом-дворником: быстрый успех, признание таланта, популярность – все это вдруг осветило темную жизнь Никитина. Можно было радоваться и считать себя вознагражденным за трудные годы жизни; но и это счастье заключало в себе долю горечи. С этой поры жизнь Никитина как будто раздваивается: одной стороной он принадлежит интеллигентной части общества, живет ее интересами и должен удовлетворять тем требованиям, которые ему предъявляются как писателю; другой стороной он – дворник, обязанный для своего существования ухаживать за извозчиками, отпускать им овес и сено, каждый день вступать с кухаркой в обсуждение вопроса о том, в каком горшке варить щи, и так далее. Такое положение не могло не тяготить Никитина. Нужно было устроить свою жизнь иначе, добиться самостоятельности и материального довольства, стать на такую ступень общественной лестницы, где не пришлось бы испытывать постоянных унижений. Наконец и это удастся, хоть оплачивается дорогой ценой: в долгой борьбе с жизнью приходится растратить “и чувства лучшие, и цвет своих стремлений”, иссушить ум и сердце. А

кроме того, мучительная болезнь отравляет даже лучшие минуты жизни, от времени до времени напоминая о смерти. Все это отразилось на характере Никитина, угрюмом и нелюдимом, и на его стихотворениях, в которых так много душу надрывающей тоски и совсем нет нот радости. “Я не сложил, не мог сложить ни одной беззаботной, веселой песни во всю мою жизнь”, – говорит он сам.

Едва ли можно найти другого поэта (кроме самых отчаянных пессимистов), который, начав писать стихи еще в молодости, мог бы сделать такое горькое признание, так же как трудно найти другого человека, в жизни которого женщина занимала бы так мало места, как в жизни нашего поэта. Кажется, никогда, даже в молодые годы, Никитин не испытал любви к женщине; ни одно из его стихотворений не согрето этим чувством, которое дает обыкновенно так много тем для вдохновения не только молодым, но иногда даже старым поэтам. Только теперь, к концу жизни, Никитина коснулось это чувство – коснулось затем, чтобы осветить его “закат печальный” и погаснуть вместе с жизнью. Мы не можем обойти молчанием в биографии Никитина эту историю, хотя, собственно говоря, романа, то есть любви со всеми тревожностями, с восторгами и муками, не было – было только зарождающееся чувство, которое отцвело, не успев расцвести. Роман Никитина почти весь заключается в переписке между ним и Н. А. М-ой, которая продолжалась больше года, прекратившись за несколько месяцев до смерти Никитина. По своему общественному положению эта особа принадлежала к высшему провинциальному обществу. По всей вероятности, Никитин познакомился с ней в одну из своих поездок в деревню, где он был знаком с несколькими помещичьими семействами. Об отношениях Н. А. М-ой к Никитину мы не можем судить, так как ее письма до нас не дошли – Никитин сжег их, умирая. Мы имеем перед собой только его 14 писем. По большей части это переписка между двумя хорошими знакомыми, в которой речь идет о самых обыкновенных предметах: о книгах, которые Никитин рекомендует Н. А. прочитать, о литературе вообще, о новостях дня и так далее. Видно, что поэт имел дело с умной и серьезно развитой собеседницей, не похожей на обыкновенную светскую барышню. Дружеским изложением мыслей вначале и ограничивается содержание довольно обширных писем его. Тон их вообще довольно прозаический, а местами даже грубоватый. Неприятное впечатление производят французские фразы, которыми поэт-мещанин пересыпает свои письма, видимо щеголяя этим перед барышнею другого круга, и потуги на юмор, который вообще не был ему свойствен. Весной 1861 года Н. А. М-

а приезжала в Воронеж. Свидание с ней оставило в душе Никитина глубокое впечатление. С этих пор в его письмах часто прорываются уже другие, более сердечные ноты. “Вы уехали, – пишет он ей после этой встречи, – и в жизни моей остался пробел; меня окружает пустота, которую я не знаю, чем наполнить. Мне кажется, я еще слышу ваш голос, вижу вашу кроткую, приветливую улыбку, но, право, мне от этого не легче: все это тень ваша, а не вы сами. Как до сих пор живы в моей памяти – ясный солнечный день и эта длинная, покрытая пылью улица, и эта несносная, одетая в темно-малиновый бурнус дама, так некстати попавшаяся нам навстречу, и эти ворота, подле которых я стоял с поникшей головой, чуждый всему, что вокруг меня происходило, – видя только вас одну и больше никого и ничего! Как не хотелось, как тяжело было мне идти назад, чтобы приняться за свою хлопотливую, бестолковую работу, обратившись в живую машину, без ума и без сердца. Как живо все это я помню!

На лицо твое солнечный свет упал,
Ты со взором поникшим стояла;
Крепко руку твою на прощанье я жал,
На устах моих речь замирала.

Я не мог от тебя своих глаз отвести.
Одна мысль, что нам нужно расстаться,
Поглощала меня. Повторял я: “Прости!” —
И не мог от тебя оторваться.

Понимала ли ты мое горе тогда?
Или только, как ангел прекрасна,
Покидала меня без нужды и труда,
Будто камень холодный, бесстрастна?...”

В этом письме – уже целая сердечная исповедь. Но понимал ли сам Никитин, к чему могло привести это зародившееся чувство к девушке, которая, может быть, отвечала ему взаимностью, но по своему общественному положению была так далека от него? И по летам, и по своей натуре, в которой было так много холодного и рассудочного, Никитин, конечно, не был способен настолько увлечься чувством, чтобы забыть о той пропасти, которая разделяла его с М-ой, и мечтать о счастье с любимым существом. А этого счастья так недоставало в его одинокой жизни!

“Я содрогаюсь, – пишет он дальше, – когда оглядываюсь на пройденный мною безотрадный, длинный-длинный путь. Сколько

на нем я положил силы! А для чего? К чему вела эта борьба? Что я выиграл в продолжение многих годов, убив свое лучшее время, свою золотую молодость?... Неужели на лице моем только забота должна проводить морщины? Неужели оно должно окаменеть со своим холодным, суровым выражением и остаться навсегда чуждым улыбке счастья? Кажется, это так и будет. С разбитой грудью как-то неловко, неблагоприятно мечтать о красных днях. А как будто, назло всему, с мечтами трудно расстаться. Так колодник до последней минуты казни не покидает надежды на свободу; так умирающий в чахотке верит в свое выздоровление. Тот и другой ждут чуда; но чудеса в наше время невозможны. Жизнь не изменяет своего естественного хода, и если кому случится попасть под ее тяжелый жернов, она спокойно закончит свое дело, обратив в порошок плоть и кости своей жертвы”.

“Теперь вопрос: зачем я писал вам эти строки? Но будьте немножко внимательны: у меня нет любимой сестры, на колени которой я мог бы склонить мою голову, милые руки которой я мог бы покрыть в тяжелую для меня минуту поцелуями и облить слезами. Что ж, представьте себе, что вы моя нежная, моя дорогая сестра, и вы меня поймете. Не то назовите все это пустяками, увлечением впечатлительной, но не совсем разумной натуры и тому подобное... *Cela dépendra de vous. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez...* [1] так сказано, не помню, в каком-то романе”.

Никитин надеялся увидеться с М-ой летом в деревне, куда она приглашала его приехать. Но этим надеждам не пришлось осуществиться: весной он заболел, и на этот раз уже смертельной болезнью. Переписка прекратилась за три месяца до смерти Никитина; последние его письма становятся уже короткими и сухими. Перед смертью он имел возможность убедиться в силе характера и великодушии Н. А. М-ой: узнав, что Никитин умирает почти одинокий на своем постоялом дворе, она предложила ему приехать в город и ухаживать за ним вместе с его двоюродной сестрой. Никитин решительно отклонил это предложение, которое можно назвать подвигом со стороны Н. А. М-ой, если учесть ее общественное положение. Так кончился этот грустный и, кажется, единственный в жизни нашего поэта роман, если только это слово подходит для характеристики тех отношений, о которых мы можем судить по его письмам.

ГЛАВА V. ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ

Болезнь. – Религиозное настроение. – Одиночество. – Свидание с В. А. Кокоревым. – Духовное завещание. – Последние именины. – Семейная драма. – Смерть. – Похороны. – “Вырыта заступом яма глубокая”

Весна 1861 года началась для Никитина печально: 3-го мая он простудился и должен был лечь в постель. Собственно, это было следствием той болезни, которая уже несколько лет подтачивала его силы, по временам только принимая острый характер; но теперь состояние Никитина было очень плохо: у него развилась, кажется, горловая чахотка и он доживал последние дни. Впрочем, благодаря усилиям врачей здоровье Никитина на некоторое время настолько поправилось, что он мог ходить и даже кое-как занимался делами по магазину. Конечно, всякие литературные занятия были брошены, даже чтение возбуждало и расстраивало больного.

Летом этого года в Воронеже было необыкновенное религиозное возбуждение по случаю открытия мощей св. Тихона Задонского, память которого глубоко чтилась в народе. Вся губерния оживилась и наполнилась тысячами богомольцев, собравшихся из разных концов России. Это настроение сообщилось и больному Никитину; он с глубоким интересом читал жизнеописание святого, которое приводило его в восторженное состояние. “Вот это я понимаю! Вот она где, правда-то!” – восклицал Никитин при этом чтении. Другой его настольной книгой в это время сделалось Евангелие.

Печально и одиноко проводил время больной. Летом почти все приятели его разъехались, не покидала его только двоюродная сестра, А. Н. Тюрина, та, которая была и его единственной подругой детства. Старик отец по обыкновению пил и, несмотря на тяжелое положение сына, не оставлял его в покое; он врывался в комнату, где лежал больной, и тут давал волю своей брани. Эти сцены, рассказывает Де-Пуле, были настолько мучительны, что знакомые могли только желать Никитину скорой смерти.

В августе состоялось первое свидание Никитина с В. А. Кокоревым, который оказал ему такую важную услугу при открытии магазина. Свидание это было неожиданным для Никитина и глубоко потрясло его. Вот как описывает его присутствовавший здесь Де-Пуле.

“Входит незнакомый мужчина высокого роста и обращается ко мне с вопросом: “Вы – Иван Саввич?” Я указал глазами на

Никитина. “Я – Кокорев”, – сказал вошедший. Лежавший с полужакрытыми глазами Никитин вскакивает с дивана, выпрямляется во весь рост и, взявши за руку Кокорева, голосом, полным прежней силы, хотя часто обрывающимся, начинает ему говорить... Мы затрудняемся сказать, что говорить. Не речь же, не монолог. Но это было в самом деле что-то вроде монолога. В. А. Кокорев был более чем смущен этою сценою: в первый раз он видит Никитина, и в таком положении! Он пробовал было остановить поток смутивших его благодарностей; но тщетно. “Нет, постойте... дайте мне все высказать, – говорил надрывающийся, страстный голос, – вы дали мне новую жизнь... вы... вы спасли меня... не подожди так скоро смерть, я не остался бы в этом городе, здесь мне душно!” Голос Никитина порвался от истерических рыданий, ему сделалось дурно”.

Несмотря на это, Никитин на некоторое время снова ожил, так что близкие люди начали надеяться на его выздоровление. Но это была уже последняя вспышка догорающей жизни. 1-го сентября Де-Пуле получил от него приглашение приехать для составления духовного завещания. Здесь снова выступает на сцену отношение поэта к отцу. Всю выручку от продажи книжного магазина Никитин по завещанию предоставил бедным родственникам; отцу он не уделил ни малейшей части. Несмотря на советы и убеждения близких людей включить в завещание и отца, Никитин оставался непреклонным. “Это бесполезно, и деньги пойдут прахом”, – говорил он. Отец, правда, имел средства, необходимые для жизни, так как распоряжался доходом с постоянного двора. Совершенно верно и то, что деньги, оставленные ему, пошли бы на кутежи и мотовство, и потому трудно осуждать Никитина за такой поступок, хотя в нем выразилось враждебное чувство, не смягченное даже близостью смерти. Вообще, отношения Никитина к отцу, который был его мучителем, представляют довольно сложную психологическую загадку. Это борьба нескольких чувств, где рядом со снисходительностью к слабости и падению близкого человека (которое оплакивает Никитин в “Кулаке”) поднимается ненависть, накопившаяся за годы мучений. Не будем решать, как могут ужиться в душе одного человека такие противоречия, которые подметил еще римский поэт в своих стихах “Odi et amo”. Во всяком случае, отношения с отцом – эта семейная мещанская драма (впрочем, весьма обыкновенная, к несчастью, и в других сферах) – наполняют последние дни умирающего Никитина крайне тяжелыми подробностями. 26-го сентября был день его именин. Вечером по обыкновению пришел навестить его Де-Пуле. Никитин лежал на диване с полужакрытыми глазами; смерть уже

отметила его своей печатью. Отец, который на этот раз был совершенно трезвый, начал тихо жаловаться на него Де-Пуле, говорить, что он тревожится, сердится понапрасну, совсем не бережет и убивает себя. “Вот хоть бы вы ему посоветовали успокоиться, нас он совсем не слушает”, – закончил Савва Евтихиевич. При этих словах Никитин быстро поднялся с дивана и стал на ноги, шатаясь и едва держась руками за стол. Он был страшен, как поднявшийся из гроба мертвец.

– Спокойствие! – воскликнул умирающий. – Теперь поздно говорить о спокойствии! Я себя убиваю? Нет, – вот мой убийца.

Горящие глаза его обратились к ошеломленному и уничтоженному отцу. Умирающий опустился на диван, застонал и обратился к стене, погрузившись снова в забытие.

Наступило 16 октября. Подвыпивший отец, который ничего не знал о содержании духовного завещания и тревожился об этом, с утра не выходил из комнаты умирающего сына. Он стоял у его изголовья и беспрестанно зывал:

– Иван Саввич! Кому отказываешь магазин? Иван Саввич! Где ключи? Поддай сюда духовную!

Умирающий судорожно вздрагивал и умолял глазами сестру отвести старика в другую комнату. Де-Пуле, присутствовавший при этой сцене, с трудом его успокоил, сказав, что духовная у него и что деньги все целы. “Я был уничтожен картиной такой смерти”, – рассказывает он. “Баба, баба!” – еще был в силах проговорить Никитин. Это были его последние слова.

Дикая драма не прекратилась даже и после смерти Никитина. Старик отец, узнав, что он обойден в духовном завещании, неистовствовал и шумел даже у гроба сына... Впрочем, впоследствии он спокойно говорил об этом, объясняя все наговором злых людей, потому что “Иван Саввич не таковский был человек, чтобы забыть отца. А что они между собой ссорились, так мало ли что бывает: ведь и горшок с горшком сталкиваются!”

Похороны Никитина приняли характер общественного события. Гроб его провожала масса публики с начальником губернии во главе; много было учащейся молодежи, гимназистов, семинаристов и кадетов. Никитин похоронен на Митрофаниевском кладбище, рядом с могилой А. В. Кольцова. Лучшей эпитафией ему могло бы стать известное стихотворение, написанное им за год до смерти, которое проникнуто глубокой тоской умирающего. Мы приводим его целиком:

Вырыта заступом яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,

Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая...
Горько она, моя бедная, шла
И, как степной огонек, замерла.
Что же? усни, моя доля суровая!
Крепко закроется крышка сосновая,
Плотнo сырою землею придавится,
Только одним человеком убавится...
Убыль его никому не больна,
Память о нем никому не нужна...
Вот она – слышится песнь беззаботная —
Гостя погоста, певунья залетная,
В воздухе синем на воле купается;
Звонкая песнь серебром рассыпается...
Тише!.. О жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!

Несмотря на свой угрюмый и замкнутый характер, несмотря на некоторые несимпатичные черты, которые проявились в последние годы его жизни, Никитин оставил по себе светлое воспоминание в близко знавших его людях. Мы видели уже, с какой симпатией относились к нему Второв и Придорогин. С такой же симпатией говорит о нем и Де-Пуле, близко стоявший к Никитину в последние годы его жизни и оставивший нам свои воспоминания о нем. Все это свидетельствует о том, что в суровой и непривлекательной на первый взгляд натуре поэта-мещанина было какое-то обаяние, которому поддавались даже люди, стоявшие выше его по своему умственному развитию. Это обаяние, по словам Де-Пуле, заключалось в том, что “этот человек был олицетворение труда, живое воплощение идеи, замысла; вблизи его нельзя было ни задремать, ни опустить рук”. Эти качества здоровой природы человека, вышедшего из простого народа, сохранились в Никитине, несмотря на крайне тяжелые условия его существования и на внутренний разлад между его стремлениями и жизнью, который уже с молодых лет ему пришлось испытать.

Жизнь Никитина крайне бедна внешними фактами, но зато интересна и поучительна история его внутреннего развития. В сущности, вся его недолгая жизнь (он умер 37-ми лет) была борьбой между поэтическим призванием, которое он чувствовал в глубине души, и тяжелой судьбой. Душевные муки этой борьбы лучше всего выражены самим Никитиным в заключительных строфах его “Кулака”:

Как узник, я рвался на волю,
Упрямо цепи разбивал,
Я света, воздуха желал!
В моей тюрьме мне было тесно.
Ни сил, ни жизни молодой
Я не жалел в борьбе с судьбой,
Во благо ль? Небесам известно.

Темная среда, из которой вышел Никитин, конечно, должна была наложить на него свою печать. Но лучшая часть его души осталась в его произведениях.

ГЛАВА VI. НИКИТИН КАК ПОЭТ

Отношение критики пятидесятых годов к “поэту-дворнику”. – Неблагоприятные условия для развития его таланта. – Пессимизм Никитина. – Ограниченный мир его творчества. – Стихотворения подражательные. – Скорбные стихотворения. – Переход к самостоятельному творчеству. – Поэт народной бедности и горя. – Реализм Никитина. – Стихотворения “Жена ямщика”, “Бурлак” и другие. – “Кулак”. – Картины природы. – Заключение

Никитин не был так счастлив, как другой воронежский поэт, А. В. Кольцов, нашедший прекрасного истолкователя своих произведений в лице В. Г. Белинского, который вместе с тем был его другом и страстным поклонником его поэзии. Можно сказать, что и до сих пор скорбная муза нашего “поэта-дворника” не нашла себе вполне справедливой оценки. За шумными и преждевременными восторгами, которые вызвали первые стихотворения Никитина, наступило охлаждение, доходившее до полного разочарования; в свое время находились даже критики, которые видели в произведениях поэта-мещанина только неудачные притязания “писать так, как пишут господа”. Как мы уже говорили, одной из причин такого отношения к Никитину было то, что в его произведениях искали и не нашли той простоты и свежести, того безыскусственного выражения народной жизни, которые внесла в нашу литературу поэзия Кольцова. Будучи по преимуществу поэтом серенькой и бедной среды, из которой вышел, Никитин, однако, далек был от непосредственности Кольцова; на всех его произведениях лежит печать сознательности, “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”, в них видно, наконец, влияние образования и литературы. Такое явление не могло не смущать критиков, полагавших, что мещанин, сочиняющий стихи на постоялом дворе, должен быть или талантом-самородком вроде Кольцова, или простым подражателем, кое-как образованным и желающим казаться литератором. Не забудем, что в то время, в дореформенную эпоху, писатель-разночинец, теперь завоевавший себе такую широкую область в нашей литературе, был явлением новым. Неудивительно поэтому, что некоторые из критиков, даже признававших в Никитине талант, затруднялись отвести ему надлежащее место, после того как не нашли в нем Кольцова. Но:

Если это розы – цвести они будут!

Прошло уже тридцать лет со дня смерти Никитина, и некоторые из его задушевных стихотворений сделались известными всей образованной России наряду с произведениями наших лучших поэтов. Таким образом, вопрос о том, был ли у Никитина истинный талант, следует считать разрешенным. Можно рассуждать о размерах его дарования и значении его поэтической деятельности, и мы прежде всего напомним, в какие узкие рамки по необходимости должна была заключиться творческая деятельность Никитина, судьба которого далеко не соответствовала его силам. Из предыдущего биографического очерка мы знаем, какую трудную школу пришлось пройти Никитину, прежде чем ему удалось выйти на “дорогу жизни новой”, из бедного и забитого нуждой дворника сделаться писателем, обратившим на себя общее внимание. И вся последующая жизнь поэта была продолжением той же борьбы с лишениями, с грубостью среды, наконец, с мучительной болезнью, постоянно одолевавшей его и доведшей до преждевременной могилы, когда талант Никитина не успел еще вполне проявиться, а может быть, и вполне определиться. Жалоба Полежаева: “Не расцвел и отцвел” – вполне применима и к судьбе Никитина. Благотворное влияние и поддержка кружка Второва помогли ему отказаться от работы дворника, дали возможность проявить свое так долго скрывавшееся дарование, но это дарование увидело свет (Никитину тогда было уже около 30 лет) надломленным и искалеченным предшествующей жизнью. В нем выработался пессимизм, который заставлял смотреть на жизнь только с одной, печальной, стороны, закрывая другие, светлые. Вот почему в произведениях Никитина мы не найдем полного и всестороннего отражения народной жизни, не найдем тех светлых сторон ее, которые запечатлела поэзия Кольцова; зато угнетенная и страдающая бедность, деспотизм, по своему произволу уродующий чужое счастье, мрак невежества, позорная и тяжелая жизнь “кулака” – все это изображено поэтом с такой поразительной правдой, которая оставляет глубокое впечатление. Мир произведений Никитина невелик и весь ограничивается бедной мещанской и крестьянской средой, которую он мог наблюдать, почти не выходя за пределы города; но этот маленький и бедный мирок в его произведениях предстает перед нами живым, со своими неподдельными чувствами и мыслями, возбуждающим наше участие. “Много нужно глубины душевной, – говорит Гоголь, – чтобы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания”, то есть показать, что эта “презренная жизнь” имеет такие же общечеловеческие права, как и всякая другая.

Как мы уже знаем, наклонность писать стихи явилась у Никитина еще в то время, когда он учился в семинарии. Пример Серебрянского, рукописные произведения которого тогда ходили по рукам среди семинаристов, а еще более, вероятно, слава поэта-прасола Кольцова сильно повлияли на Никитина. Впрочем, ничего из написанного им в это время не сохранилось; но, по всей вероятности, и тогда, и в последующие годы жизни на постоялом дворе занятие стихами было для Никитина делом серьезным. Первые его стихотворения, с которыми он выступил в печати, хотя не представляли ничего оригинального по содержанию, но уже отличаются хорошо разработанной формой. Это обстоятельство, указывающее на долгую внутреннюю работу над самим собой, было причиной того, что неожиданное появление нового литератора в лице никому не известного мещанина-дворника было встречено такими восторгами, с одной стороны, и недоумением – с другой. В сущности же первые произведения его представляли собой слишком очевидные подражания, в которых то и дело повторялись мотивы Кольцова, Пушкина, Лермонтова и других поэтов. Так, например, в стихотворении о дубе, который стоит одиноко, —

Стоит он и смотрит угрюмо
Туда, где под сводом небес
Глубокую думает думу
Знакомый давно ему лес, —

вы узнаете “Сосну” Лермонтова; точно так же в стихотворении “Когда закат прощальными лучами” – вариацию на тему “Когда волнуется желтеющая нива” (Лермонтов). Таких примеров можно указать много. Даже стихотворения “Русь” и “Война за веру”, доставившие, как известно, Никитину популярность, ничего самостоятельного не представляют: первое из них, написанное звучными стихами, по форме слишком напоминает Кольцова, а второе повторяет мотивы “Клеветникам России” Пушкина.

Семинарская риторика, вырабатывавшая способность направлять мысль на темы незнакомые или малознакомые, также оставила свой след в произведениях Никитина этого периода; например, в стихотворении “Моление о чаше” у него есть описание Палестины, сделанное, очевидно, по учебнику географии; есть также в стихах описание Сибири, которой Никитин, конечно, никогда не видал.

К этому же времени относится ряд стихотворений религиозного содержания, например “Моление о чаше”, “Новый

Завет”, “Молитва дитяти”, имевших успех благодаря искреннему религиозному чувству, которым они согреты. Рядом с ними нужно поставить те, в которых Никитин старается разрешить философские вопросы. Так, он обращается к своему уму:

Кто дал тебе силу
Разумной свободы
И к истинам вечным
Любовь и влечение?
Кто дал это свойство
Цветущей природе,
Что в ней разрушение единого тела
Бывает началом
Для жизни другого?
Ответ на эти вопросы он находит в том,
Что есть высший Разум,
Все дивно создавший,
Всем правящий мудро.

(“Успокоение”).

В поэзии Никитина вообще совершенно отсутствуют стихотворения любовного содержания. Этим пробелом, как мы знаем, отличалась и жизнь поэта. Даже в тех стихотворениях, которые написаны, по-видимому, в альбомы особ прекрасного пола, печальный поэт говорит о тоске под звуки рояля, о житейской невзгоде и т. п.

Среди произведений Никитина есть целый ряд стихотворений, которые могут служить замечательным дополнением к его биографии. Это – стихотворения, выражающие, душевное настроение поэта, историю его внутренней жизни. Отличительная черта их – искренность и тихая грусть, которая переходит часто в надрывающую душу скорбь.

“Я воплощал боль сердца” в звуки, говорит сам Никитин. Эта скорбь далека от того напыщенного пессимизма, который рождается от пресыщения благами жизни, от душевной пустоты и скуки в людях, получивших от судьбы больше того, что они заслуживают. Неудовлетворенность самых скромных желаний счастья, противоречие задушевных мечтаний поэта с окружающей его горькой действительностью – вот что вызывает в жизни Никитина ту внутреннюю драму, которая выражается в его скорбных стихотворениях. Только воспоминания детства являются светлыми оазисами, на которых с отрадой

останавливается мысль поэта. Такая жизнерадостная картинка рисуется им, например, в известном стихотворении “Помню я: бывало, няня...” или в другом:

Я помню счастливые годы,
Когда беспечно и шутя
Безукоризненной свободой
Я наслаждался, как дитя...

С какою детскою отрадой
Глядел я на кудрявый лес,
Весенней дышащий прохладой,
На свод сияющий небес,

На тихо спящие заливы
В зеленых рамах берегов,
На блеск и тень волнистой нивы
И на узоры облаков.

То были дни святой свободы,
Очарованья и чудес
На лоне мира и природы...

Но эти светлые воспоминания в душе поэта тотчас же сменяются мрачными чувствами, заставляющими его сказать:

Вечная память, веселое время!
Грудь мою давит тяжелое бремя,
Жизнь пропадает в заботах о хлебе,
Детство сияет, как радуга в небе...
Где вы, веселье, и сон, и здоровье?
Смокло от слез у меня изгололье,
Темная даль мне бедою грозит...
Зимняя вьюга шумит и гудит.

В других стихотворениях Никитин жалуется на свою суровую долю, с которой он “рано подружился”, на неудавшуюся жизнь “с потерями надежд, бессильем против зла”, на грязь и невежество окружавшей его среды. Это жалобы богато одаренной натуры, которая томится в чуждой ей обстановке, рвется из нее и не находит сил, чтобы вырваться.

Четыре года, проведенные Никитиным под влиянием Второва и его кружка, можно назвать временем его нравственного

возрождения. Не только в его общественном положении, но и в мировоззрении происходит переворот, отразившийся и на его произведениях. Во всем, что написано им до этой поры, нет ничего оригинального, никакой, так сказать, определенной писательской физиономии. Отголоски пушкинской школы, литературные и философские взгляды сороковых годов, насколько они были доступны пониманию Никитина-семинариста, наконец, народные мотивы в духе Кольцова – все это присутствует в произведениях этого периода. Талант искал себе самостоятельной дороги и, как всегда бывает с начинающими, избрал пока проторенные пути. Естественнее всего для поэта-дворника было следовать Кольцову, но, как заметил Белинский, Кольцовым нужно было родиться, подражать же ему было невозможно. Во всяком случае, в произведениях Кольцова, значение которых тогда уже так прекрасно понял Белинский, Никитин мог видеть указание для себя: они открывали ему область народной жизни, до тех пор почти не известную в нашей литературе. Впрочем, не только пример Кольцова, но и сама жизнь с новыми общественными запросами указывала Никитину ту область, в которой могло выразиться его дарование. В то время, во второй половине пятидесятих годов, в воздухе уже носились веяния реформ императора Александра II, и главнейшим здесь должно было стать освобождение массы простого народа от крепостной зависимости. Вместе с тем происходит переворот и в общественных взглядах на народную жизнь. Тот народ, к которому раньше относились с таким пренебрежением, как к холопу, которого литература или совсем не удостоивала своим вниманием, или выводила только для оживления сельской картины в виде благоденствующих “пейзан” и “пейзанок”, теперь становится предметом серьезного изучения. Правда, интерес к народу возник гораздо раньше, – уже в литературе сороковых годов пробивалась струя народности; но тогда это движение происходило втихомолку, под гнетом “независящих” обстоятельств, и потому не могло выявиться вполне определенно. Только со второй половины пятидесятих годов наша литература отводит видное место изображению народной жизни, представляя ее без фальшивых прикрас и сентиментальности. И эта правда о народе производит сильное впечатление. Такие вещи, как “Записки охотника” Тургенева, повести Григоровича и стихотворения Некрасова, пользовались в обществе необыкновенным успехом. Они были своего рода откровением, хотя изображали только то, что было у всех перед глазами.

В такое-то время выступил Никитин со своими лучшими

стихотворениями. В них нет светлой поэзии Кольцова, его простого и трогательного лиризма, нет широты и оригинальности этого таланта-самородка. Никитин по преимуществу скорбный поэт, поэт бедности и горя. Мир его произведений, может быть, слишком узок, но зато изображен вполне сознательно и вдумчиво; он не только хорошо знает описываемую им жизнь, но и понимает ее, сочувствует ей и сам страдает вместе с другими обездоленными. Читая его произведения, вы чувствуете, что автор – не литератор-барин, старающийся проникнуть в народную жизнь, которая все-таки остается для него только объектом наблюдения, а писатель, представляющий собою плоть от плоти этого народа, переживший и перечувствовавший то, что он изображает. Эта искренность составляет одно из лучших достоинств произведений Никитина. Другое свойство его таланта – реализм, трезвое и правдивое отношение к жизни. У него нет той приторной идеализации, к которой часто прибегают даже лучшие из наших писателей-народников. Несмотря на свои симпатии к народу, Никитин не закрывает глаз на его дурные и дикие стороны, которые как неизбежное зло будут существовать до тех пор, пока над этой темной массой “не блеснут лучи рассвета”. И, тем не менее, несмотря на отсутствие идеализации, этот бедный и серенький люд, так тихо и безропотно переносящий свою долю, вызывает глубокое участие к себе благодаря правдивому изображению Никитина. Вот, например, один слишком обыкновенный, но, тем не менее, страшный момент жизни женщины-крестьянки в стихотворении “Жена ямщика”. Сидя за прялкой в зимнюю ночь, жена ямщика поджидает мужа, который уехал с извозом и уже пятую неделю не шлет о себе никаких вестей. Тревожные мысли не дают ей покоя:

Ну, Господь помилуй,
Если с мужиком
Грех какой случится
На пути глухом!..
Дело мое бабье,
Целый век больна.
Что я буду делать
Одиной-одна!
Сын еще ребенок,
Скоро ль подрастет?
Бедный!.. все гостинца
От отца он ждет!..

Вспоминается жене ямщика прошлое – ее невеселая

девическая жизнь; вспомнились слова ее матери:

Где тебе, голубке,
Замужем-то жить,
Труд порой рабочей
В поле выносить!
И в кого родилась
Ты с таким лицом?
Старшие-то сестры
Кровь ведь с молоком!
И разгульны, правда,
Нечего сказать,
Да зато им – шутка
Молотить и жать.
А тебя за разум
Хвалит вся семья,
Да любить-то... любит
Только мать твоя.

А вот и весть, которой недаром с такой тревогой ожидала жена ямщика: от соседа, привезшего лошадей ее мужа, она узнает, что он, приехав в Москву, вдруг захворал и умер.

В другом стихотворении, “Бурлак”, рассказывается незадавшаяся жизнь бурлака, которому вначале так повезло:

Дочь соседа любила меня, молодца,
Я женился – и зажил с женою!
Словно счастье на двор мне она принесла...

Все, кажется, шло прекрасно, но беда нагрянула неожиданно-негаданно: умерла молодая жена, а за ней сынишка, отрада отца, а затем началось разорение и нужда, заставившая неудачника пойти в бурлаки.

А вот и еще горе, – горе крестьянина-пахаря:

Вот и осень прошла, убран хлеб золотой,
Все гумно у соседа завалено...
У меня только смотрит оно сиротой, —
Ничего-то на нем не поставлено!

Не дозрела моя колосистая рожь,
Крупным градом до корня побитая!..
Уж когда же ты, радость, на двор мой войдешь?

Ох, беда ты моя непокрытая!

Посидят, верно, детки без хлеба зимой,
Без одежды натерпятся холоду...
Привыкайте, родимые, к доле худой!
Закаляйтесь в кручинушке смолоду...

(“Внезапное горе”).

С глубокой симпатией изображает Никитин эту “бесталанную долю” пахаря, которого так преследует судьба, его трудную борьбу с природой, его постоянные заботы:

Уж когда же ты, кормилец наш,
Возьмешь верх над долей горькою?
Из земли-то роешь золото,
Сам-то сыт сухою коркою.

“На труды твои да на горе вдоволь вчуже я наплакался!” – заканчивает поэт это прекрасное стихотворение (“Пахарь”). Такие же грустные думы о судьбе крестьянина находим и во многих других стихотворениях Никитина (например “Нищий”, “Деревенский бедняк”, “На пепелище”). Печальное положение крестьянской женщины в различные моменты ее жизни – жизнь девичья, замужество, вдовство – также изображено Никитиным. Вот, например, отец принуждает дочь выйти замуж за жениха, который “и буян, и мот, и в могилу свел жену первую”, но зато богат (“Упрямый отец”). А вот замужество, в котором ее ожидают только тяжелый, непосильный труд и заботы (стихотворения “Жена ямщика”, “За прялкою баба”, “Мать и дочь”), и еще более страшное вдовство (“Пряха”).

Мы не имеем возможности перечислить здесь всех стихотворений Никитина, в которых он изображает крестьянскую жизнь. Как мы уже говорили, это изображение, может быть, односторонне: бедность, нужда, тяжелый труд, неудачи... Ни “поэзии степей и полей” Кольцова, ни той беззаветной русской удали, которая так часто слышится в его песнях, мы не найдем у Никитина. Как на единственное почти исключение можно указать разве на его известную “Песню бобыля”, в которой так хорошо выражена та бесшабашность русского человека, для которой все – “трын-трава”.

Ни кола, ни двора,

Зипун – весь пожиток...
Эх, живи – не тужи,
Умрешь – не убыток!

Но это уже свойство таланта Никитина, которому ближе к сердцу были печальные явления жизни, чем какие-либо другие. В заключение мы не можем не привести его прекрасную характеристику бедности в следующих строфах:

Ах ты, бедность горемычная,
Дома в горе терпеливая,
К куску черному привычная,
В чужих людях боязливая!
Всем ты, робкая, в глаза глядишь,
Сирота, стыдом убитая;
К богачу придешь – в углу стоишь,
Бесприветная, забытая.
Ты плывешь, куда водой несет,
Стороной бредешь – где путь дадут,
Просишь солнышка – гроза идет,
Скажешь правду – силой рот зажмут.
У тебя весна без зелени,
А любовь твоя без радости,
Твоя радость безо времени,
Немочь с голодом при старости...

Как уже можно судить из приведенных отрывков, во всех этих произведениях Никитин далек от того бесцветного романтизма, с которым он выступил вначале. Если по своей форме, по размеру и языку эти стихотворения приближаются к стихам Кольцова, – имея перед собой такой образец, Никитину не нужно было вырабатывать что-либо самому, – то по содержанию и по своему настроению они вполне самостоятельны. Вы видите, что у поэта есть свой особый мир, который он так хорошо изучил и любит и потому так правдиво изображает. Но лучше всего выразился талант Никитина в драме из мещанской жизни “Кулак”. Это самое крупное по размерам и самое серьезное по замыслу из его произведений. Здесь нарисована широкая картина жизни того “темного царства”, из которого вышел сам поэт, и которое было ему так близко знакомо. Кулак – это мелкий торговец, который для поддержания своего существования промышляет всеми правдами и неправдами: рвет, что только может, в свою пользу, обвешивает, обмеривает, клянется. Таков Лукич, герой поэмы

Никитина. С поразительным реализмом поэт изображает тяжелую и позорную жизнь кулака, все его проделки и злоключения. Но, несмотря на низость этой жизни, на грязь порока, в которую погружается Лукич, поэт постоянно отмечает в нем и проблески добра, которые примиряют нас с этой испорченной натурой и заставляют видеть в ней несчастную жертву обстоятельств. Сам поэт говорит:

Быть может, с детства взятый в руки
Разумной матерью, отцом,
Лукич избег бы жалкой муки —
Как ныне, не был кулаком.

Эта гуманная мысль, проходящая через всю поэму, придает ей особенную цену. “Кулак” – не сатира, обличающая порок, а плач о человеке, погибающем в тине низких интересов и страстей, но по натуре своей достойном лучшей участи. Сюжет поэмы заключается в том, что Саша, дочь Лукича, любит бедного столяра, но отец принуждает ее выйти замуж за богатого торговца, Тараканова, в надежде, что зять поможет ему поправить свои дела. Напрасно Саша со слезами умоляет отца:

Сжальтесь надо мною!
За что я молодость свою
С немым сердцу загублю?

Напрасно вместе с Сашей просит за нее Арина, жена Лукича, – он остается непреклонным и грозит дочери проклятием за послушание. Лукич не злой по природе, ему жаль дочери; его самодурство – результат грубых взглядов, исстари сложившихся в той темной торгашеской среде, в которой он живет, и извращенных представлений о счастье. Он рассуждает:

Сосед наш честен, всем хорош,
Да голь большая, вот причина!
Что честь-то? Коли нет алтына,
Далеко с нею не уйдешь.
Без денег честь – плохая доля.

Самодурство отца, душевная драма Саши, которая должна выйти замуж за немилого ей Тараканова, сцены сватанья, сговора – все это чрезвычайно живо изображено Никитиным. Мы не

имеем возможности познакомить читателя с этими сценами в выдержках, так как это заняло бы слишком много места, и отсылаем его к самой поэме. Жертва, принесенная Сашей, оказывается напрасной. Богатство немилого мужа, тупое мещанское довольство не дают ей счастья; Саша томится и чахнет. Ошибается также и Лукич в своих расчетах на поддержку эгоиста-зятя. Тяжелая сцена, когда Лукич в трудную минуту напрасно просит о помощи Тараканова, вызывает сочувствие к этому падшему и несчастному человеку:

Осмеян всеми, обнищал,
Тут совесть не дает покою...
Зять! Не пусти меня с сумою!
Дай мне под старость отдохнуть!
Поставь меня на честный путь!
Дай дело мне! Господь порука —
Не буду пить и плутовать!

Только со стороны бедного столяра, которого он оскорбил отказом выдать за него дочь, встречает Лукич сочувствие и готовность помочь во время своего падения. Поэма заканчивается следующими прекрасными строфами:

Ты сгиб, но велика ль утрата?
Вас много! Тысячи кругом,
Как ты, погибли под ярмом
Нужды, невежества, разврата.
Придет ли, наконец, пора,
Когда блеснут лучи рассвета;
Когда зародыши добра
На почве, солнцем разогретой,
Взойдут, созреют в свой черед
И принесут сторичный плод;
Когда минет проказа века
И воцарится честный труд,
Когда увидим человека —
Добра божественный сосуд?

Этими немногими чертами мы хотели только обозначить ту нравственную идею, которой проникнуто лучшее произведение Никитина. Познакомить с его художественными достоинствами мы не имеем возможности в этом кратком очерке. Несмотря на растянутость и прозаичность некоторых мест “Кулака”,

поразительный реализм в изображении бытовых сцен производит глубокое впечатление при описании драматического положения действующих лиц и свидетельствует о крупном таланте Никитина. Как на лучшие из таких мест можно указать на сцены самодурства кулака, сватанья, болезни и смерти Арины...

Кстати, напомним здесь о “Дневнике семинариста”, единственном произведении в прозе, которое оставил Никитин. При всей незаконченности этих очерков некоторые места “Дневника”, несомненно, свидетельствуют о том, что и в прозе Никитин мог с успехом проявить свой талант; такова, например, прекрасно написанная сцена смерти Яблочкина.

Нам остается указать еще на одну область творчества, в которой Никитин является замечательным художником: это описания природы. Вот поэтическое описание ночи:

Рассыпались звезды, дрожат и горят...
За пашнями диво творится:
На воздухе синие горы висят,
И в полыми люд шевелится...
А вот начало стихотворения “Утро”:
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

Такие описания могли быть созданы только поэтом, который “с природой одною жизнью дышал”. Эти стихотворения (прибавим еще: “Зимняя ночь в деревне”, “Зашумела, разгулялась...”, “Полдневный воздух зноем дышит” и др.) давно стоят в одном ряду с лучшими произведениями наших поэтов.

О стихотворениях Никитина, написанных на злобу дня, мы уже упоминали в другом месте. Такие стихотворения, как “Разговоры”, “Опять знакомые виденья”, “Поэту-обличителю” и другие, не имеют художественных достоинств и интересны только в связи с характеристикой мировоззрения Никитина. Мы говорили также о перемене, происшедшей в нем за последние годы его жизни, и отметили его резко отрицательное отношение к “веяниям” пятидесятих годов, к пустым, по его мнению, “разговорам” тогдашней интеллигенции о “заре новой жизни” и вообще к обличениям старого, дореформенного зла. Все это, может быть, доказывает только то, что по недостаточности развития Никитин не мог вполне понять жизненного значения тогдашнего общественного движения, от которого он, впрочем, и стоял слишком далеко в последние годы жизни; поэтому он и

видел в нем только отрицательные стороны, которые, несомненно, были. Рядом с отрицанием Никитин пытается указать на положительные идеалы, к которым, по его мнению, следует стремиться, но эти идеалы оказываются очень туманными и слишком отзываются общими местами. “Широкий путь, разумный труд”, “бесконечное мысли движение, царство разума, правды святой” – вот все, что мы находим в его стихотворениях (“Опять знакомые виденья”, “Поэту-обличителю”). Здесь слышится отголосок возвышенного, но туманного идеализма сороковых годов.

Нам остается подвести итоги всему сказанному выше о Никитине.

Это был несомненный и крупный талант, которому недоставало только правильного и всестороннего развития для того, чтобы занять более видное место в нашей литературе. Судьба Никитина не соответствовала его силам, большая часть которых была загублена неудавшейся тяжелой жизнью. “В вашей судьбе что-то есть роковое!” – говорит Некрасов, обращаясь к “братьям-писателям”. Эти слова главным образом относятся к тем писателям-разночинцам, которые прошли трудный путь, исполненный невзгод и препятствий, прежде чем сумели вынести на свет свое дарование. Яркий пример этого – история жизни Никитина, одного из первых разночинцев в нашей литературе.

Как народный поэт Никитин был преемником Кольцова в изображении народной жизни, оставаясь, однако, в этой области самостоятельным наблюдателем. Его скорбные стихотворения, проникнутые таким искренним сочувствием к страдающему и обездоленному люду, их трезвая правда составляют прекрасное дополнение к поэзии Кольцова. Недаром же имена Кольцова и Никитина обыкновенно ставятся рядом.

ИСТОЧНИКИ

1. *И. С. Никитин*. Сочинения. С биографией, составленной М. Ф. Де-Пуле. Изд. К. К. Шамова. М., 1886.

2. *Нордштейн*. Биографические данные о Никитине. – “Отечественные записки”, 1854, № 6.

3. “Воронежская беседа”, 1861.

4. *Ставрин*. Кольцов и Никитин. – “Дело”, 1874, № 3.

5. *Я. К. Грот*. Статья о поэме Никитина “Кулак”. – “Известия 2-го отд. Академии наук”, 1858.

6. М. Ф. Де-Пуле. Н. И. Второв. – “Русский архив”, 1877.

7. *А. Н. Пыпин*. Характеристики литературных мнений.

8. *А. М. Скабичевский*. История новейшей русской литературы.

notes

Примечания

Это будет зависеть от вас. Я сделаю все, что вы мне прикажете .*(фр.)*